

Стихи о любви



Андрей Вознесенский

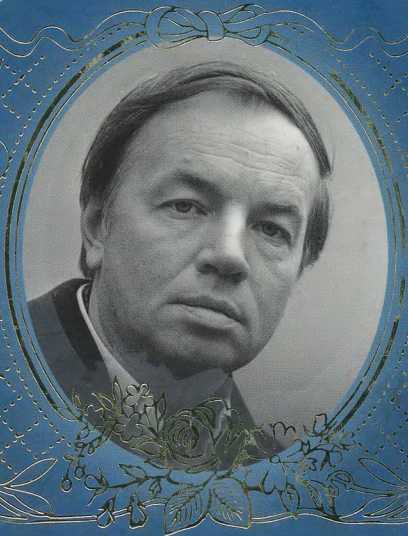


Стихи о любви

Андрей
Вознесенский



Миллион алых роз...



Андрей Вознесенский
Миллион алых роз...

АСТ
Москва



УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5
В64

Серия «*Стихи о любви*»

Вознесенский, Андрей
В64 **Миллион алых роз... / Андрей Вознесенский.** — Москва.: АСТ, 2014. — 224 с. (Стихи о любви).

ISBN 978-5-17-080372-9
(ООО «Издательство АСТ»)

Андрей Андреевич Вознесенский - выдающийся российский поэт-шестидесятник. Сборник включает в себя лучшие произведения знакового поэта прошлого века. В том числе и стихи, на которые написаны популярные эстрадные песни: «Плачет девочка в автомате», «Верни мне музыку»... И главный хит «Миллион алых роз», где поэт в стихах пересказал новеллу Паустовского о любви художника к актрисе.

УДК 821.161.1-1
ББК 84(2Рос=Рус)6-5

ISBN 978-5-17-080372-9 (ООО «Издательство АСТ»)

©Богуславская, З.Б., 2013
©Вознесенская, А.А., 2013
© Оформление. ООО
«Издательство «АСТ», 2013

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Над Академией,
осатанев,
грехопадением
падает снег.
Парками, скверами
счастье взвилось.
Мы были первыми.
С нас началось —
рифмы, молитвы,
свист пулевой,
прыганья в лифты
вниз головой!
Сани, погони,
искры из глаз.
Все — эпигоны,
все после нас...
С неба тяжёлого,
сном, чудодейством,
снегом на голову
валится детство,
свалкою, волей,
шапкой с ушами,
шалостью, школой,



непослушаньем.
Здесь мы встречаемся.
Мы однолетки.
Мы задыхаемся
в лестничной клетке.
Автомобилями
мчатся недели.
К чёрту фамилии!
Осточертели!
Разве Монтекки
и Капулетти
локоны, веки,
лепеты эти?
Тысячеустым
четверостишием
чище искусства,
чуда почище.

1950-е



ОСЕННИЙ ВОСКРЕСНИК

Кружатся опилки,
груши и лимоны.
Прямо
на затылки
падают балконы!
Мимо этой сутолоки,
ветра, листопада
мчатся на полуторке
вёдра и лопаты.
Над головоломной
ка —
та —
строфой
мы летим в Коломну
убирать картофель.
Замотаем платъица,
брючины засучим.
Всадим заступ в задницы
пахотам и кручам!

1953



КОЛЕСО СМЕХА

Летят носы клубничкой,
подолы и трико.
А в центре столб клубится —
ого-го!

Смеху сколько —
скользко!

Девчонки и мальчишки
слетают в снег, визжа,
как с колеса точильщика
иль с веловиража.

Не так ли жизнь заносит
товарищей иных,
им задницы занозит
и скидывает их?

Как мне нужна в поэзии
святая простота,
но мчит меня по лезвию
куда-то не туда.

Обледенели доски.
Лечу под хохот толп,



а в центре, как Твардовский,
стоит дубовый столб.
Слетаю метеором
под хохот и галдёж...
Умора!
Ой, умрёшь.

1953



* * *

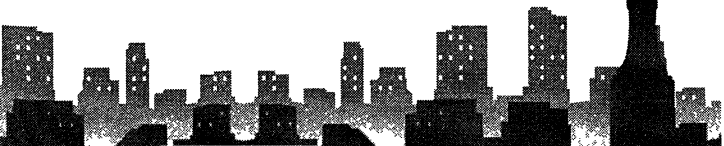
Меня пугают формализмом.
Как вы от жизни далеки,
пропахнувшие формалином
и фимиамом знатоки!
В вас, может, есть и целина,
но нет жемчужного зерна.
Искусство мертвенно без искры,
не столько Божьей, как людской,
чтоб слушали бульдозеристы
непроходимую тайгой.
Им приходилось зло и солоно,
но чтоб стояли, как сейчас,
они — небритые, как солнце,
и точно сосны — шелушась.
И чтобы девочка-чувашка,
смахнувши синюю слезу,
смахнувши — чисто и чумазо,
смахнувши — точно стрекозу,
в ладони хлопала раскатисто...
Мне ради этого легки
любых ругателей рогатины
и яростные ярлыки.

1953

ГОРНЫЙ РОДНИЧОК

Стучат каблучонки
как будто копытца
девчонка к колонке
сбегает напиться
и талия блещет
увёртливей змейки
и юбочка плещет
как брызги из лейки
хохочет девчонка
и голову мочит
журчащая чёлка
с водою лопочет
две чудных речонки
к кому кто приник?
и кто тут
девчонка?
и кто тут родник?

1955



* * *

Не надо околичностей,
не надо чушь молоть.
Мы — дети культа личности,
мы кровь его и плоть.
Мы выросли в тумане,
двусмысленном весьма,
среди гигантомании
и скудости ума.
Отцам за Иссык-Кули,
за домны, за пески
не орденами — пулями
сверлили пиджаки.
И серые медали
довесочков свинца,
как пломбы, повисали
на души, на сердца.
Мы не подозревали,
какая шла игра.
Деревни вымирали.
Чернели вечера.
И огненной подковой



горели на заре
венки колючих проволок
над лбами лагерей.
Мы люди, по распутию
ведомые гуськом,
продутые, как прутья,
сентябрьским сквозняком.
Мы — сброшенные листья,
мы музыка оков.
Мы мужество амнистий
и сорванных замков.
Распахнутые двери,
сметённые посты.
И ярость новой ереси,
и яркость правоты.

1956



ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ

Пляска затылков,
блузок, грудей —
это в Бутырках
бреют блядей.
Амбивалентно
добро и зло —
может, и Лермонтова
наголо?

Пей верхтормашками,
влей депрессант,
чтоб нового «Сашку»
не смог написать...
Волос — под ноль.
Воля — под ноль.
Больше не выйдешь
под выходной!
Смех беспокоен,
снег бестолков.
Под «Метрополем»
дробь каблучков.



Точно косули,
зябко стоят.
Вешних сосуллек
грешный отряд.
Фары по роже
хлещут, как жгут.
Их в Запорожье
матери ждут.
Их за бутылками
не разглядишь.
Бреют в Бутырках
бедных блядищ.
Эх, бедовая
судьба девчачья!
Снявши голову,
по волосам не плачут.

1956



ТОРГУЮТ АРБУЗАМИ

Москва завалена арбузами.
Пахнуло волей без границ.
И веет силой необузданной
от возбуждённых продавщиц.
Палатки. Гвалт. Платки девчат.
Хохочут. Сдачею стучат.
Ножи и вырезок тузы.
«Держи, хозяин, не тужи!»
Кому кавун? Сейчас расколется!
И так же сочны и вкусны:
милиционерские околыши
и мотороллер у стены.
И так же весело и свойски,
как те арбузы у ворот,
земля мотается
в авоське
меридианов и широт!

1956

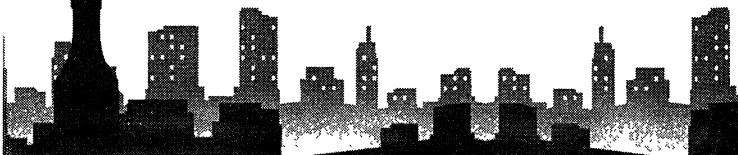


ПОЖАР В АРХИТЕКТУРНОМ ИНСТИТУТЕ

Пожар в Архитектурном!
По залам, чертежам,
амнистией по тюрьмам —
пожар, пожар!
По сонному фасаду
бесстыже, озорно,
гориллой краснозადой
взвивается окно!
А мы уже дипломники,
нам защищать пора.
Трещат в шкафу под пломбами
мои выговора!
Ватман — как подраненный,
красный листопад.
Горят мои подрамники,
города горят.
Бутылью керосиновой
взвилось пять лет и зим...
Кариночка Красильникова,
ой! Горим!
Прощай, архитектура!
Пылайте широко,
коровники в амурах,

райклубы в рококо!
О юность, феникс, дурочка,
весь в пламени диплом!
Ты машешь красной юбочкой
и дразнишь язычком.
Прощай, пора окраин!
Жизнь — смена пепелищ.
Мы все перегораем.
Живёшь — горишь.
А завтра, в палец чиркнувши,
вонзится злей пчелы
иголочка от циркуля
из горсточки золы...
...Всё выгорело начисто.
Милиции полно.
Всё — кончено!
Всё — начато!
Айда в кино!

1957



ГОЙЯ

Я — Гойя!

Глазницы воронок мне выклевал ворог,
слетая на поле нагое.

Я — Горе.

Я — голос

Войны, городов головни
на снегу сорок первого года.

Я — голод.

Я — горло

Повешенной бабы, чье тело, как колокол,
было над площадью голой...

Я — Гойя!

О, грозди

Возмездья! Взвил залпом на Запад —
я пепел незваного гостя!

И в мемориальное небо вбил крепкие
звезды —

Как гвозди.

Я — Гойя.

1957



* * *

В.Б.

Нет у поэтов отчества.
Творчество — это отрочество.

Ходит он — синеокий,
гусельки на весу,
очи его — как окуни
или окно в весну.

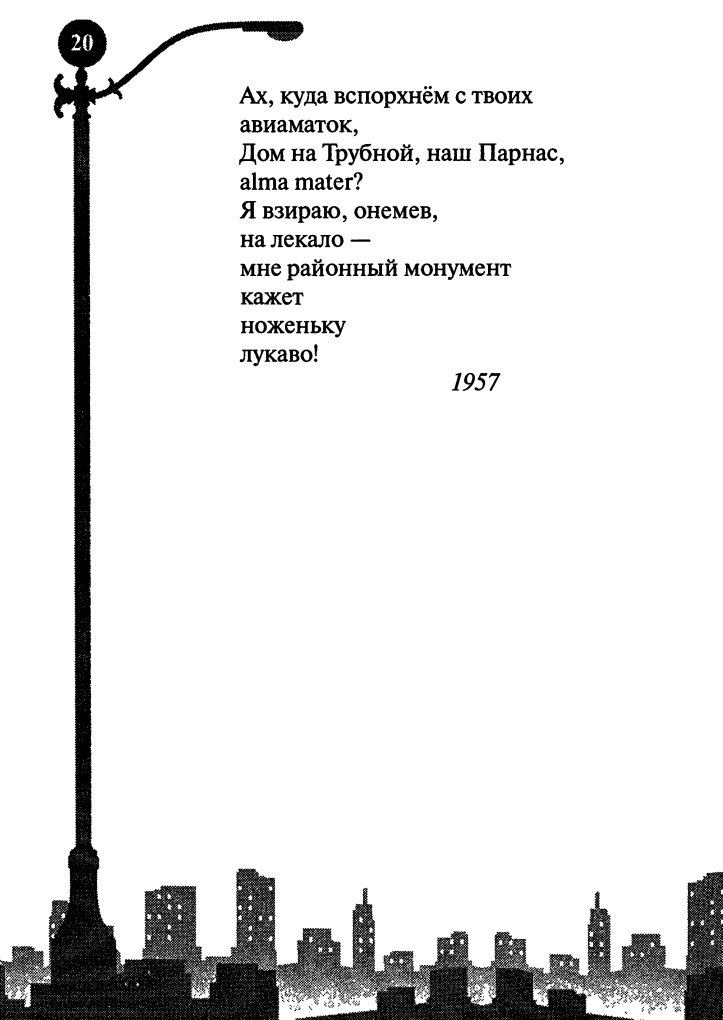
Он неожидан, как фишка.
Ветренен, точно март...
Нет у поэта финиша.
Творчество — это старт.
1957



МАСТЕРСКИЕ НА ТРУБНОЙ

Дом на Трубной.
В нём дипломники басят.
Окна бубной
жгут заснеженный фасад.
Дому трудно.
Раньше он соцреализма не видал
в безыдейном заведении у мадам.
В нём мы чертим клубы, домны,
но бывало,
стены фрескою огромной
сотрясало,
шла империя вприпляс
под венгерку,
«феи» реяли меж нас
фейерверком!
Мы небриты, как шинель.
Мы шалели,
отбиваясь от мамзель,
от шанели,
но упорны и умны,
сжавши зубы,
проектировали мы
домны, клубы...





Ах, куда вспорхнём с твоих
авиаматок,
Дом на Трубной, наш Парнас,
alma mater?
Я взираю, онемев,
на лекало —
мне районный монумент
кажет
ноженьку
лукаво!

1957

* * *

Сидишь беременная, бледная.
Как ты переменилась, бедная.

Сидишь, одергиваешь платице,
И плачется тебе, и плачется...

За что нас только бабы балуют
И губы, падая, дают,

И выбегают за шлагбаумы,
И от вагонов отстают?

Как ты бежала за вагонами,
Глядела в полосы оконные...

Стучат почтовые, курьерские,
Хабаровские, люберецкие...

И от Москвы до Ашхабада,
Остолбенев до немоты,

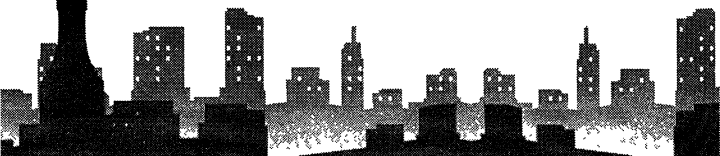


Стоят, как каменные, бабы,
Луне подставив животы.

И, поворачиваясь к свету,
В ночном быту необжитом

Как понимает их планета
Своим огромным животом.

1958



* * *

По Суздалю, по Суздалю
сосулек, смальт —
авоською с посудю
несётся март.
И колокол над рынком
мотается серьгой.
Колхозницы — как крынки
в машине грузовой.
Я в городе бидонном,
морозном, молодом.
«Америку догоним
по мясу с молоком!»
Я счастлив, что я русский,
так вижу, так живу.
Я воздух, как краюшку
морозную, жую.
Весна над рыжей кручей,
взяв снеговой рубеж,
весна играет крупом
и ржёт, как жеребец.
А ржёт она над критикой
из толстого журнала,
что видит во мне скрытое
посконное начало.

1958

ДАЧА ДЕТСТВА

Интерьеры скособочены
в оплеухах снежных масс.
В интерьерах блеск пощёчин —
раз-раз!
За проказы, неприличности
и бесстыжие глаза,
за расстёгнутые лифчики —
за-за!
Дым шатает половицы,
искры сыплются из глаз.
Этак дача подпалится —
раз-раз!
Поцелуи и пощёчины,
море солнца, птичий гвалт, —
задыхаемся, хохочем —
март!

1950-е



СВАДЬБА

Где пьют, там и бьют —
чашки, кружки об пол бьют.
Горшки — в черепки,
молодым под каблуки.
Брызжут чашки на куски:
чьё-то счастье —
в черепки!

И ты в прозрачной юбочке,
юна, бела,
дрожишь, как будто рюмочка
на краешке стола.

Горько! Горько!
Нелёгкая игра.
За что? За горку
с набором серебра?
Где пьют, там и льют —
слёзы, слёзы, слёзы льют...

1956



НЕСКОНЧАЕМАЯ ДУША

Клонируйте, потц, овечек!
На корточках пляша,
я — только Твой подсвечник,
нескончаемая душа.



Б. А.

Дали девочке искру.
Не ириску, а искру,
искру поиска, искру риска.
искру дерзости олимпийской!
Можно сердце зажечь, можно — печь,
можно
землю
к чертям
поджечь!
В папироске сгорает искорка.
И девчонка смеётся искоса.

1958

* * *

У речки-игруньи
у горной глазури
берёзы
в Ингури
берёзы
в Ингури
как портики храма
колонками в ряд
прозрачно и прямо
берёзы стоят
как после разлуки
я в рощу вхожу
раскидываю руки
и до ночи
лежу
сумерки сгущаются
надо мной
белы
качаются смещаются
прозрачные стволы
вот так светло и прямо
по трассе круговой
стоят
прожекторами
салюты над Москвой

1958



ОДА СПЛЕТНИКАМ

Я сплавлю скважины замочные.
Клевещущему — исполать.
Все репутации подмочены.
Трещи,
трехспальная кровать!

У, сплетники! У, их рассказы!
Люблю их царственные рты,
их уши,
 точно унитазы,
непогрешимы и чисты.

И версии урчат отчаянно
в лабораториях ушей,
что кот на даче у Ошанина
сожрал соседских голубей,
что гражданина А. в редиске
накрыли с балериной Б...

Я жил тогда в Новосибирске
в блистанье сплетен о тебе.
Как пулеметы, телефоны
меня косили наповал.
И точно тенор — анемоны,
я анонимки получал.

Междугородные звонили.
Их голос, пахнувший ванилью,
шептал, что ты опять дуришь,
что твой поклонник толст и рыж.
Что таешь, таешь льдышкой тонкой
в пожатье пышущих ручищ...

Я возвращался.
На Волхонке
лежали черные ручьи.

И все оказывалось шуткой,
насквозь придуманной виной,
и ты запахивала шубку
и пахла снегом и весной.

Так ложь становится гарантией
твоей любви, твоей тоски...

Орите, милые, горланьте!..
Да здравствуют клеветники!
Смакуйте! Дергайтесь от тика!
Но почему так страшно тихо?

Тебя не судят, не винят,
и телефоны не звонят...

1958



БАЛЛАДА ТОЧКИ

«Баллада? О точке?! О смертной пилюле?!»

Балда!

Вы забыли о пушкинской пуле!

Что ветры свистали, как в дыры кларнетов,
в пробитые головы лучших поэтов.

Стрелую пронзив самодурство и свинство,
к потомкам неслась траектория свиста!

И не было точки. А было — начало.

Мы в землю уходим, как в двери вокзала.

И точка тоннеля, как дуло, черна...

В бессмертье она?

Иль в безвестность она?..

Нет смерти. Нет точки. Есть путь

пулевой —

вторая проекция той же прямой.

В природе по смете отсутствует точка.

Мы будем бессмертны. И это — точно!

1958

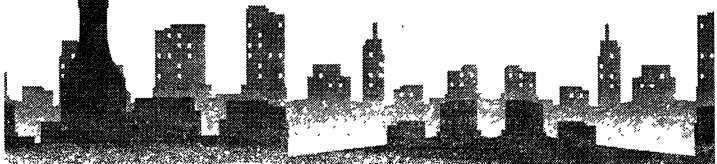
* * *

Кто мы — фишки или великие?
Гениальность в крови планеты.
Нету «физиков», нету «лириков» —
лилипуты или поэты!
Независимо от работы
нам, как оспа, привился век.
Ошарашивающее — «Кто ты?»
нас заносит, как велотрек.
Кто ты? Кто ты? А вдруг — не то?..
Как Венеру шерстит пальто!
Кукарекать стремятся скворки,
архитекторы — в стихотворцы!
Ну а ты?..
Уж который месяц —
В звёзды метишь, дороги месишь...
Школу кончила, косы сбросила,
побыла продавщицей — бросила.
И опять, и опять, как в салочки,
меж столешниковых афиш,
несмышлёныш,
олешка,
самочка,



запыхавшаяся стоишь!..
Кто ты? Кто?! — Ты глядишь с тоскою
в книги, в окна — но где ты там? —
Припадаешь, как к телескопам,
к неподвижным мужским зрачкам...
Я брожу с тобой, Верка, Вега...
Я и сам посреди лавин,
вроде снежного человека,
абсолютно неуловим.

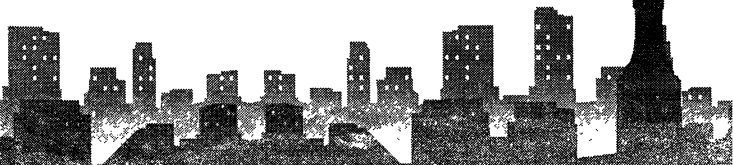
1958

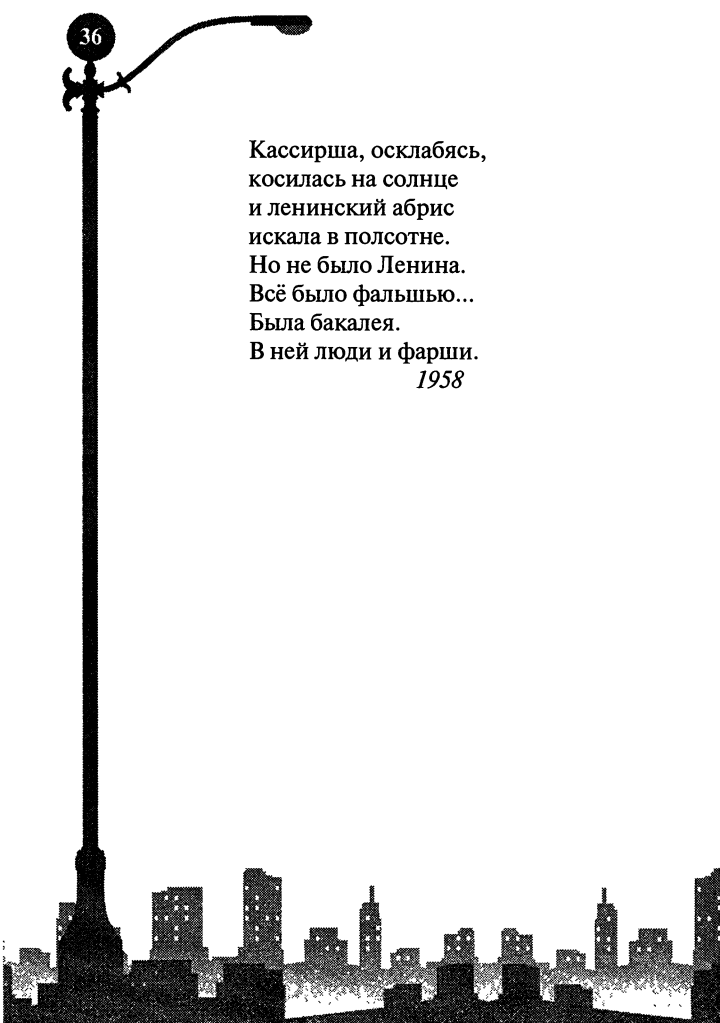


НЕМЫЕ В МАГАЗИНЕ

Д. Н. Журавлёву

Немых обсчитали.
Немые вопили.
Медяшек медали
влипали в опилки.
И гневным протестом,
что всё это сказки,
кассирша, как тесто,
вздымалась из кассы.
И сразу по залам,
по курам зелёным,
пахнуло слезами,
как будто озоном.
О, слёз этих запах
в мычащей ораве!..
Два были без шапок.
Их руки орали.
А третий, с беконом,
подобием мата
ревел, как Бетховен,
земно и лохмато.
В стекло барабана,
ладони ломая,
орала судьба моя
глухонемая!





Кассирша, осклабясь,
косилась на солнце
и ленинский абрис
искала в полсотне.
Но не было Ленина.
Всё было фальшью...
Была бакалея.
В ней люди и фарши.

1958

ПОСЛЕДНЯЯ ЭЛЕКТРИЧКА

Мальчики с финками, девочки с «фиксами»...
Две проводницы дремотными сфинксами...

В вагоне спят рабочие,
Вагон во власти сна,
А в тамбуре бормочет
Нетрезвая струна...

Я еду в этом тамбуре,
Спасаясь от жары.
Кругом гудят, как в таборе,
Гитары и воры.

И как-то получилось,
Что я читал стихи
Между теней плечистых
Окурков, шелухи.

У них свои ремесла.
А я читаю им,
Как девочка примерзла
К окошкам ледяным.



Они сто раз судились,
Плевали на расстрел.
Сухими выходили
Из самых мокрых дел.

На черта им девчонка?
И рифм ассортимент,
Таким как эта — с чёлкой
И пудрой в сантиметр?!

Стоишь — черты спитые.
На блузке видит взгляд
Всю дактилоскопию
Малаховских ребят...

Чего ж ты плачешь бурно?
И, вся от слез светла,
Мне шепчешь нецензурно —
Чистейшие слова?..

И вдруг из электрички,
Ошеломив вагон,
Ты

чище

Беатриче

Сбегаешь на перрон.

1959

ПЕРВЫЙ ЛЕД

Мерзнет девочка в автомате,
Прячет в зябкое пальтецо
Все в слезах и губной помаде
Перемазанное лицо.

Дышит в худенькие ладошки.
Пальцы — льдышки. В ушах — сережки.

Ей обратно одной, одной
Вдоль по улочке ледяной.

Первый лед. Это в первый раз.
Первый лед телефонных фраз.

Мерзлый след на щеках блестит —
Первый лед от людских обид.

1959



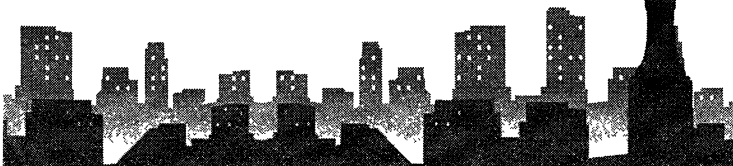
ВЕЧЕРИНКА

Подгулявшей гурьбою
все расселись. И
вдруг —
где
двое?!
Нет
двух!
Может, ветром их
сдуло?
Посреди кутежа
два пустующих стула,
два лежащих ножа.
Они только что пили
из бокалов своих.
Были —
сплыли.
Их нет, двоих.



Водою талою —
ищи-свищи!
Сбежали, бросив к дьяволу
приличья и плащи!
Сбежали, как сбегает
с фужеров гуд.
Так реки берегами,
так облака бегут.
Так убегает молодость
из-под опеки,
и так весною поросли
пускаются в побег!
В разгаре вечеринки,
но смелость этих двух
закинутыми спинками
захватывает дух!

1959



* * *

Памяти Б. и С.

Эх, Россия!
Эх, размах...
Пахнет псиной
в небесах.
Мимо Марсов, Днепрогэсов,
мачт, антенн, фабричных труб
страшным символом
прогресса
носится собачий труп.

1959

ТУМАННАЯ УЛИЦА

Туманный пригород как турман.

Как поплавки — милиционеры.

Туман.

Который век? Которой эры?

Всё — по частям, подобно бреду.

Людей как будто развинтили...

Бреду.

Верней — барахтаюсь в ватине.

Носы. Подфарники. Околыши.

Они, как в фодисе, двоятся.

Калоши?

Как бы башкой не поменяться!

Так женщина — от губ едва,

двоясь и что-то воскрешая,

уж не любимая — вдова,

ещё твоя, уже — чужая...

О тумбы, о прохожих трусь я...

Венера? Продавец мороженого!..

Друзья?

Ох, эти яго доморощенные!

Я спотыкаюсь, бьюсь, живу,

туман, туман — не разберёшься,

о чью щеку в тумаке трёшься?..

Ау!

Туман, туман — не дозовёшься...

1959



БЬЮТ ЖЕНЩИНУ

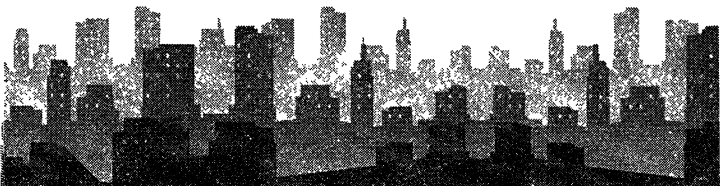
Бьют женщину. Блестит белок.
В машине темень и жара.
И бьются ноги в потолок,
как белые прожектора!

Бьют женщину. Так бьют рабынь.
Она в заплаканной красе
срывает ручку как рубильник,
выбрасывая
на шоссе!

И взвизгивали тормоза.
К ней подбегали, тормоша.
И волочили и лупили
лицом по лугу и крапиве...

Подонки, как он бил подробно,
стиляга, Чайльд-Гарольд, битюг!
Вонзался в дышащие ребра
ботинок узкий, как утюг.

О, упоенье оккупанта,
изыски деревенщины...
У поворота на Купавну
бьют женщину.



Бьют женщину. Веками бьют,
бьют юность, бьет торжественно
набата свадебного гуд,
бьют женщину.

А от жаровен на щеках
горящие затрешины?
Мещанство, быт — да еще как! —
бьют женщину.

Но чист ее высокий свет,
отважный и божественный.
Религий — нет,
знамений — нет.

Есть

Женщина!..

...Она как озеро лежала,
стояли очи как вода,
и не ему принадлежала
как просека или звезда,

и звезды по небу стучали,
как дождь о черное стекло,
и, скатываясь,
остужали
ее горячее чело.

1960



БАЛЛАДА 41-го ГОДА

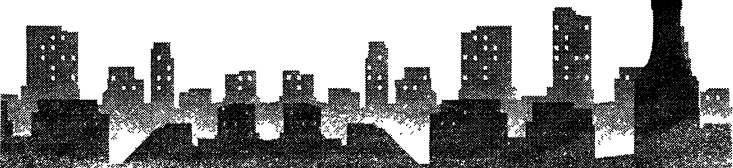
*Партизанам
Керченской
каменоломни*

Рояль вползал в каменоломню.
Его тащили на дрова
к замёрзшим чанам и половням.
Он ждал удара топора!
Он был без ножек, чёрный ящик,
лежал на брюхе и гудел.
Он тяжело дышал, как ящер,
в пещерном логове людей.
А пальцы вспухшие алели.
На левой — два, на правой — пять...
Он
опускался
на колени,
чтобы до клавишей достать.
Семь пальцев бывшего завклуба!
И, обмороженно-суха,
с них, как с разваренного клубня,
дымясь, сползала шелуха.



Металась пламенем сполошным
их красота, их божество...
И было величайшей ложью
всё, что игралось до него!
Все отраженья люстр, колонны...
Во мне ревёт рояля сталь.
И я лежу в каменоломне.
И я огромен, как рояль.
Я отражаю штолен сажу.
Фигуры. Голод. Блеск костра.
И, как коронного пассажи,
я жду удара топора!

1960



ЛОБНАЯ БАЛЛАДА

Их величеством поразвлекся
прет народ от Коломн и Клязьм.

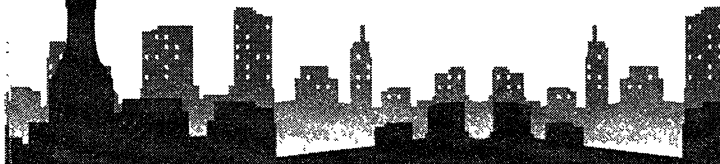
«Их любовница —
контрразведчица
англо-шведско-немецко-греческая...»

Казнь!

Царь страшон: точно кляча, тощий,
почерневший, как антрацит.
По лицу проносятся очи,
как буксующий мотоцикл.

И когда голова с топорика
подкатилась к носкам ботфорт,
он берет ее
над топою,
точно репу с красной ботвой!

Пальцы в щеки впились, как клещи,
переносицею хрустя,
кровь из горла на брюки хлещет.
Он целует ее в уста.



Только Красная площадь ахнет,
тихим стоном оглушена:

«А-а-анхен!..»

Отвечает ему она:

Царь застыл — смурной, малахольный,
царь взглянул с такой меланхолией,
что присел заграничный гость,
будто вбитый по шляпку гвоздь.

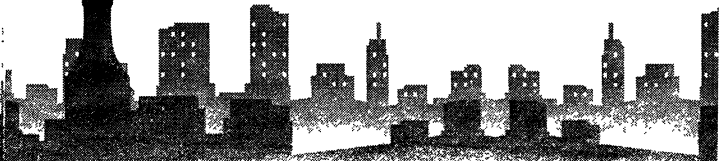
1961



* * *

Я сослан в себя
я — Михайловское
горят мои сосны смыкаются
в лице моём мутном как зеркало
смеркаются лоси и перголы
природа в реке и во мне
и где-то ещё — извне
три красные солнца горят
три рощи как стёкла дрожат
три женщины брезжут в одной
как матрёшки — одна в другой
одна меня любит смеётся
другая в ней птицей бьётся
а третья — та в уголок
забилась как уголёк
она меня не простит
она ещё отомстит
мне светит её лицо
как со дна колодца —
кольцо

1961



СТРИПТИЗ

В ревью
танцовщица раздевается, дуря...
Реву?..
Или режут мне глаза прожектора?
Шарф срывает, шаль срывает, мишуру,
как сдирают с апельсина кожуру.
А в глазах тоска такая, как у птиц.
Этот танец называется «стриптиз».
Страшен танец. В баре лысины и свист,
как пиявки, глазки пьяниц налились.
Этот рыжий, как обляпанный желтком,
пневматическим исходит молотком!
Тот, как клоп, —
апоплексичен и страшон.
Апокалипсисом воеет саксофон!
Проклинаю твой, Вселенная, масштаб!
Марсианское сиянье на мостах,
проклинаю,
обожая и дивясь.
Проливная пляшет женщина под джаз!..
«Вы Америка?» — спрошу как идиот.
Она сядет, сигаретку разомнёт.
«Мальчик, — скажет, — ах, какой у вас
акцент!
Закажите-ка мартини и абсент».

1961



ПРОТИВОСТОЯНИЕ ОЧЕЙ

Третий месяц её хохот нарочит,
третий месяц по ночам она кричит.
А над нею, как сиянье, голоса,
вечерами
разражаются
глаза!

Пол-лица ошеломлённое стекло
вертикальными озёрами зажгло.
...Ты худеешь. Ты не ходишь на завод,
ты их слушаешь, как лунный садовод,
жизнь и боль твоя, как влага к облакам,
поднимается к наполненным зрачкам.
Говоришь: «Невыносима синева!
И разламывает голова!
Кто-то хищный и торжественно-чужой
свет зажёл и поселился на постой...»
Ты грустишь — хохочут очи, как маньяк.
Говоришь — они к аварии манят.
Вместо слёз —



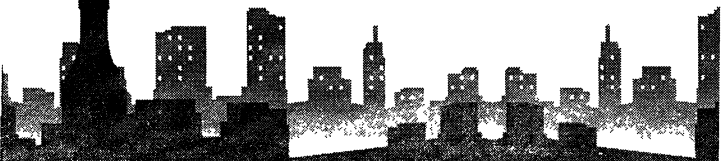
иллюминированный взгляд.
«Симулирует», — соседи говорят.
Ходят люди, как глухие этажи.
Над одной горят глаза, как витражи.
Сотни женщин их носили до тебя,
сколько муки накопили для тебя!
Раз в столетие
касается
людей
это Противостояние Очей!..
...Возле моря отрешённо и отчаянно
бродит женщина, беременна очами.
Я под ними не бродил,
за них жизнью заплатил.

1961



ОСЕНЬ В СИГУЛДЕ

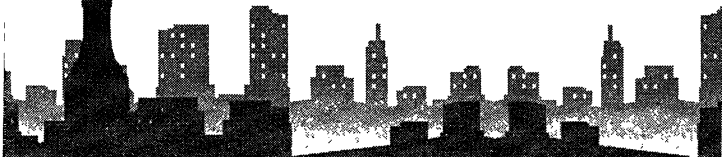
Свисаю с вагонной площадки,
прощайте,
прощай моё лето,
пора мне,
на даче стучат топорами,
мой дом забивают дощатый,
прощайте,
леса мои сбросили кроны,
пусты они и грустны,
как ящик с аккордеона,
а музыку — унесли,
мы — люди,
мы тоже порожни,
уходим мы,
так уж положено,
из стен,
матерей
и из женщин,
и этот порядок извечен,
прощай, моя мама,
у окон
ты станешь прозрачно, как кокон,
наверно, умаялась за день,
присядем,
друзья и враги, бывайте,



good bye,
из меня сейчас
со свистом вы выбегаете,
и я уйду из вас,
о родина, прощаемся,
буду звезда, ветла,
не плачу, не попрошайка,
спасибо, жизнь, что была,
на стрельбищах
в 10 баллов
я пробовал выбить 100,
спасибо, что ошибался,
но трижды спасибо, что
в прозрачные мои лопатки
вошла гениальность, как
в резиновую перчатку
красный мужской кулак,
«Андрей Вознесенский» — будет,
побыть бы не словом, не бульдиком,
ещё на щеке твоей душной —
«Андрюшкой»,
спасибо, что в рощах осенних
ты встретила, что-то спросила
и пса волокля за ошейник,
а он упирался,
спасибо,
я ожил, спасибо за осень,

что ты мне меня объяснила,
хозяйка будила нас в восемь,
а в праздники сипло басила
пластинка блатного пошиба,
спасибо,
но вот ты уходишь, уходишь,
как поезд отходит, уходишь...
из пор моих полых уходишь,
мы врозь друг из друга уходим,
чем нам этот дом неугоден?
ты рядом и где-то далёко,
почти что у Владивостока,
я знаю, что мы повторимся
в друзья и подругах, в травинках,
нас этот заменит и тот —
«природа боится пустот»,
спасибо за сдутые кроны,
на смену придут миллионы,
за ваши законы — спасибо,
но женщина мчится по склонам,
как огненный лист за вагоном...
Спасите!

1961



РОК-Н-РОЛЛ

Андрею Тарковскому

Партия трубы

Рок —

н —

ролл —

об стену сандалии!

Ром

в рот — лица как неон.

Ревёт

музыка скандальная,

труба

пляшет, как питон!

В тупик

врезаются машины.

Двух

всмятку —

«Хау ду ю ду?»

Туз пик — негритос в манишке,

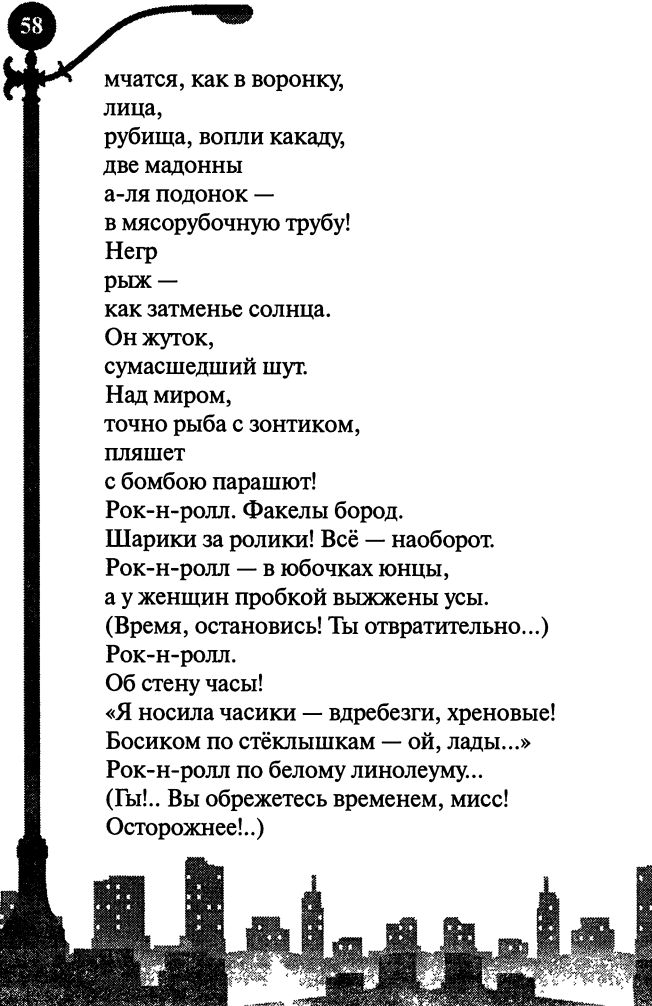
дуй,

дуй

в страшную трубу!

В ту

трубу



мчатся, как в воронку,
лица,
рубища, вопли какаду,
две мадонны
а-ля подонок —
в мясорубочную трубу!
Негр
рыж —
как затменьё солнца.
Он жуток,
сумасшедший шут.
Над миром,
точно рыба с зонтиком,
пляшет
с бомбою парашют!
Рок-н-ролл. Факелы бород.
Шарики за ролики! Всё — наоборот.
Рок-н-ролл — в юбочках юнцы,
а у женщин пробкой выжжены усы.
(Время, остановись! Ты отвратительно...)
Рок-н-ролл.
Об стену часы!
«Я носила часики — вдребезги, хреновые!
Босиком по стёклышкам — ой, лады...»
Рок-н-ролл по белому линолеуму..
(Гы!.. Вы обрежетеь временем, мисс!
Осторожнее!..)

...по белому линолеуму
кровь, кровь —
червонные следы!

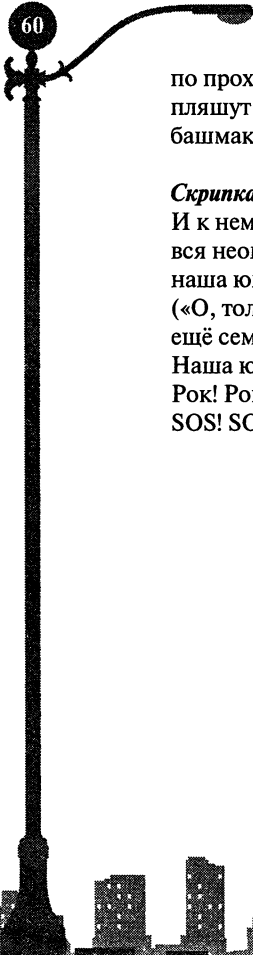
Хор мальчиков

Мешайте красные коктейли!
Даёшь ерша!
Под бельём дымится, как котельная,
доисторическая душа!
Мы — продукты атомных распадов.
За отцов продувшихся —
расплата.
Вместо телевизоров нам — камины.
В рёве мотороллеров и коров
наши вакханалии страшны, как поминки...
Рок, рок —
танец роковой!

Все

Над страной хрустальной и красивой,
выкаблучиваясь, как каннибал,
миссисипийский
мессия
Мистер Рок правит карнавал.
Шерсть скрипит в манжете целлулоидовой.
Мистер Рок — бледен, как юродивый,
Мистер Рок — министр, пророк, маньяк;





по проходим
пляшут небоскрёбы —
башмаками по муравьям.

Скрипка

И к нему от тундры до Атлантики,
вся неоновая от слёз,
наша юность...

(«О, только не её, Рок, Рок, ей нет
ещё семнадцати!..»)

Наша юность тянется лунатиком...

Рок! Рок!

SOS! SOS!

1961



РУБЛЁВСКОЕ ШОССЕ

Мимо санатория
реют мотороллеры.
За рулём влюблённые —
как ангелы рублёвские.
Фреской Благовещенья,
резкой белизной,
за ними блещут женщины,
как крылья за спиной!
Их одежда плещет,
рвётся от руля,
вонзайтесь в мои плечи,
белые крыла.
Улечу ли?
Кану ль?
Соколом ли?
Камнем?
Осень. Небеса.
Красные леса.

1962



ИТАЛЬЯНСКИЙ ГАРАЖ

Б. Ахмадулиной

Пол — мозаика,
как карась.
Спит в палаццо
ночной гараж.
Мотоциклы как сарацины
или спящие саранчи.
Не Паоло и не Джульетты —
дышат потные «шевролеты».
Как механики, фрески Джотто
отражаются в их капотах.
Реют призраки войн и краж.
Что вам снится,
ночной гараж?
Алебарды?



или тираны?
или бабы
из ресторана?..
Лишь один мотоцикл притих —
самый алый из молодых.
Что он бодрствует? Завтра — Святки.
Завтра он разобьётся всмятку!
Апельсины, аплодисменты...
Расшибающиеся —
бессмертны!
Мы родились — не выживать,
а спидометры выжимать!..
Алый, конченный, жарь! Жарь!
Только гонщицу очень жаль...

1962



СТРЕЛА В СТЕНЕ

Тамбовский волк тебе товарищ
и друг,
когда ты со стены срываешь
подаренный пенджабский лук!

Как в ГУМе отмеряют ситец,
с плеча откинется рука,
стрела задышит, не насытясь,
как продолжение соска.

С какую женственностью лютой
в стене засажена стрела —
в чужие стены и уюты.
Как в этом женщина была!

Стрела — в стене каркасной стройки,
Во всем, что в силе и в цене.
Вы думали — век электроники?
Стрела в стене!



Горите, судьбы и державы!
Стрела в стене.
Тебе от слез не удержаться
наедине, наедине,

над украшательскими нишами,
как шах семье,
ультимативно нищая
стрела в стене!

Шахуй, оторва белокурая!
И я скажу:
«У, олимпийка!» И подумаю:
«Как сжались ямочки в тазу».

«Агрессорка, — добавлю, — скифка...»
Ты скажешь: «Фиг то...»



* * *

Отдай, тетива сыромятная,
найтишайшую из стрел
так тихо и невероятно,
как тайный ангел отлетел.

На людях мы едва знакомы,
но это тянется года.
И под моим высотным домом
проходит тёмная вода.

Глубинная струя влеченья.
Печали светлая струя.
Высокая стена прощенья.
И боли чёткая стрела.

1963

* * *

Шарф мой, Париж мой,
серебряный с вишней,
ну, натворивший!
Шарф мой — Сена волосяная,
как ворсисто огней сиянье,
шарф мой Булонский, туман мой мохнатый,
фары шофёров дуют в Монако!
Что ты пронзительно шепчешь, горячий,
шарф, как транзистор, шкалою горящий?
Шарф мой, Париж мой непоправимый,
с шалой кровинкой?
Та продавщица была сероглаза,
как примеряла она первоклассно,
лаковым пальчиком с отсветом улиц
нежно артерии сонной коснулась...
В электрическом шарфе хожу,
душный город на шее ношу.

1963



ДЛИНОНОГО

Это было на взморье синем —
в Териоках ли? в Ориноко? —
она юное имя носила —
Длиноного!
Выходила — походка лёгкая,
а погодка такая лётная!
От земли, как в стволах соки,
по ногам
подымаются
токи,
ноги праздничные гудят —
танцевать,
танцевать хотят!
Ноги! Дьяволы элегантные,
извели тебя хулиганствами!
Ты заснёшь — ноги пляшут, пляшут,
как сорвавшаяся упряжка.
Пляшут даже во время сна.
Ты ногами оглушена.
Побледневшая, сокрушённая,
вместо водки даёшь крюшоны —
под прилавком сто дьяволят



танцевать,
танцевать хотят!
«Танцы-шманцы?! — сопит завмаг. —
Ах, у женщины ум в ногах». —
Но не слушает Длинного
философского монолога.
Как ей хочется повышаться
на кружке инвентаризации!
Ну, а ноги несут сами —
к босанове несут, к самбе!
Он — приезжий. Чудной, как цуцик.
«Потанцуем?»
Ноги, ноги, такие умные!
Ну а ночи — такие лунные!
Длинного, побойся Бога,
сумасшедшая Длинного!
А потом она вздрогнет: «Хватит».
Как коня, колени обхватит
и качается, обхватив,
под насвистывающий мотив...
Что с тобой, моя Длинного?..
Ты — далёко.

1963





70

НОЧЬ

Сколько звёзд!
Как микробов
в воздухе...

1963

* * *

Ты с тёткой живёшь. Она учит канцоны.
Чихает и носит мужские кальсоны.
Как мы ненавидим проклятую ведьму!..
Мы дружим с овином, как с добрым медведем.
Он греет нас, будто ладошки за пазухой.
И пасекой пахнет.
А в Суздале — Пасха!
А в Суздале сутолока, смех, вороньё,
ты в щёки мне шепчешь про детство твоё.
То сельское детство, где солнце и кони
и соты сияют, как будто иконы.
Тот отблеск медовый на косах твоих...
В России живу — меж снегов и святых!

1963



ПОЭТ В ПАРИЖЕ

Уличному художнику

Лили Брик на мосту лежит,
разутюженная машинами.
Под подошвами, под резинами,
как монетка, зрачок блестит!
Пешеходы бросают мзду.
И, как рана,
Маяковский,
щемяще ранний,
как игральная карта в рамке,
намалёван на том мосту!
Каково Вам, поэт, с любимой?!
Это надо ж — рвануть судьбой,
чтобы ликом, как Хиросимой,
отпечататься в мостовой!
По груди Вашей толпы торопятся,
Сена плещется под спиной.
И, как божья коровка, автобусик
мчит, щекочущий и смешной.
Как волнение Вас охватывает!..
Мост парит,
ночью в поры свои асфальтовые,
как сирень, впитавши Париж.
Гений. Мот. Футурист с морковкой.
Льнул к мостам. Был посол Земли...

Никто не пришёл на Вашу выставку,
Маяковский.

Мы бы — пришли.
Вы бы что-нибудь почитали,
как фатально Вас не хватает!
О, свинцовую пломбочкой-ночью
опечатанные уста.
И не флейта Ваш позвоночник —
алюминиевый лёт моста!
Маяковский, Вы схожи с мостом.
Надо временем, как гимнаст,
башмаками касаетесь РОСТА,
а ладонями — нас.
Ваша площадь мосту подобна,
как машины из-под моста —
Маяковскому под ноги
Маяковская Москва!
Маяковским громит подонков
Маяковская чистота!
Вам шумят стадионов тысячи.
Как Вам думается?
Как дышится,
Маяковский, товарищ Мост?..
Мост. Париж. Ожидаем звёзд.
Притаился закат внизу,
полоснувши по небосводу
красным следом от самолёта,
точно бритвою по лицу!

1963

СИРЕНЬ

Сирень похожа на Париж,
горящий осами окошек.
Ты кисть особняков продрогших
серебряную шевелишь.

Гудя нависшими бровями,
страшён от счастья и тоски,
Париж, как пчёлы, собираю
в мои подглазные мешки.

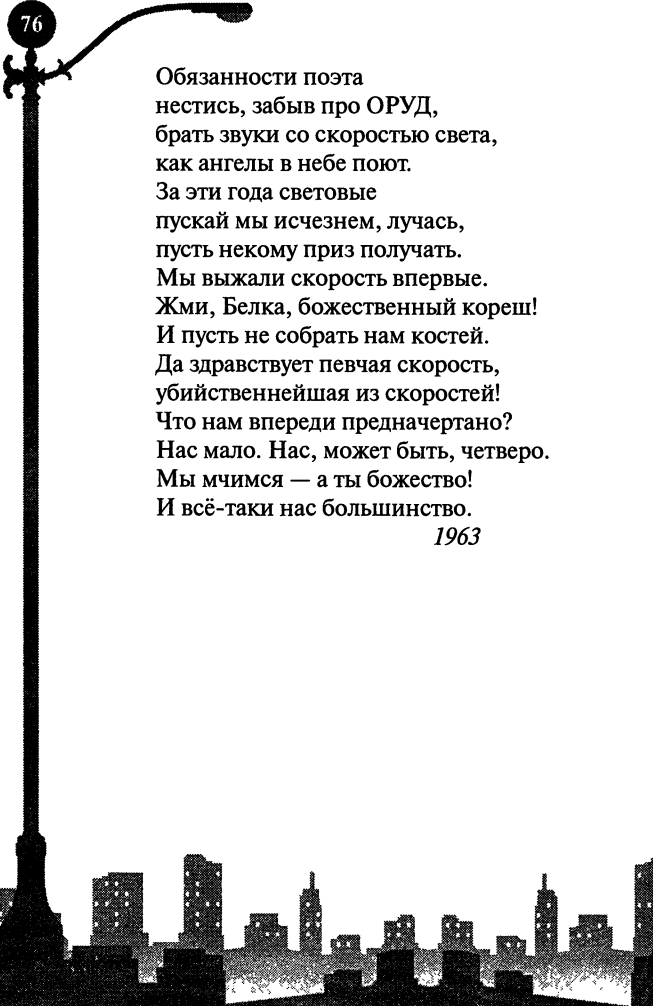
1963



* * *

Б. Ахмадулиной

Нас много. Нас, может быть, четверо.
Несёмся в машине, как черти.
Оранжеволоса шофёрша.
И куртка по локоть — для форса.
Ах, Белка, лихач катастрофный,
нездешняя, ангел на вид,
хорош твой фарфоровый профиль,
как белая лампа горит!
В аду в сковородки долдонят
и вышлют к воротам патруль,
когда на предельном спидометре
ты куришь, отбросивши руль.
Люблю, когда выжав педаль,
хрустально, как тексты в хорале,
ты скажешь: «Какая печаль!
права у меня отобрали...
Понимаешь, пришили превышение скорости
в возбуждённом состоянии.
А шла я вроде нормально...»
Не порть себе, Белочка, печень.
Сержант нас, конечно, мудрей,
но нет твоей скорости певчей
в коробке его скоростей.



Обязанности поэта
несть, забыв про ОРУД,
брать звуки со скоростью света,
как ангелы в небе поют.
За эти года световые
пускай мы исчезнем, лучась,
пусть некому приз получать.
Мы выжали скорость впервые.
Жми, Белка, божественный кореш!
И пусть не собрать нам костей.
Да здравствует певчая скорость,
убийственнейшая из скоростей!
Что нам впереди предначертано?
Нас мало. Нас, может быть, четверо.
Мы мчимся — а ты божество!
И всё-таки нас большинство.

1963

БОЛЬНАЯ БАЛЛАДА

В море морозном, в море зелёном
можно застынуть в пустынных салонах.
Что опечалилась милый товарищ?
Заболеваешь, заболеваешь?
Мы запропали с тобой в теплоход
в самый канун годовщины печальной.
Что, укачало? Но это пройдёт.
Всё образуется, полегчает.
Ты в эти ночи родила меня,
женски, как донор, наполнив собою.
Что с тобой, младшая мама моя?
Больно?
Милая, плохо? Планета пуста,
официанты бренчат мелочишкой.
Выйдешь на палубу — пар изо рта,
не докричишься, не докричишься.
К нам, точно кошка, в каюту войдёт
затосковавшая проводница.
Спросит уютно: «Чайку, молодёжь,
или чего-нибудь подкрепиться?
Я, проводница, слезами упьюсь,
и в годовщину подобных кочевий.
выпьемте, что ли, за дьявольский плюс
быть на качелях».
«Любят — не любят», за качку в мороз,

что мы сошлись в этом мире киржацком,
в наикачаемом из миров
важно прижаться.

Пьём за сварливую нашу родню,
воют, хвативши чекушку с прицепом.

Милые родичи, благодарю.

Но как тошнит с ваших точных рецептов.

Ах, как тошнит от тебя, тишина.

Благожелатели виснут на шее.

Ворот теснит, и удача тошна,

только тошнее

знать, что уже не болеть ничему, —
ни раздражения, ни обиды.

Плакать начать бы, да нет, не начну.

Видно, душа, как печёнка, отбита...

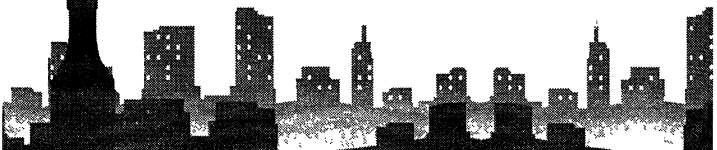
Ну а пока что — да здравствует бой.

Вам ещё взвыть от последней обоймы.

Боль продолжается. Празднуйте боль!

Больно!

1964



БАЛЛАДА-ЯБЛОНЯ

В. Катаеву

Говорила биолог,
 молодая и зяблая, —
Это летчик Володя
 целовал меня в яблонях.
И, прервав поцелуй, просветлев из зрачков,
он на яблоню выплеснул
 свою чистую
 кровь!

*Яблоня ахнула,
это был первый стон яблони,
по ней пробежала дрожь
 негодования и восторга,
была пора завязей,
когда чудо зарождения
 высвобождалось из тычинок, пестиков,
 ресниц,
 разминается в воздухе.
Дальше ничего не помню.*

Ах, зачем ты, любимый, меня пожалел?
телу яблоневу от тебя тяжелеть.



Как ревную я к стонущему стволу.
Ночью нож занесу, но бессильно стою —
на меня, точно фара из гаража,
мчатся

яблоневы глаза!

Их 19.

*Они по три в ряд на стволе,
как ленточные окна.*

Они раздвигают кожу, как дупла.

Другие восемь узко растут из листьев.

*В них ненависть, боль, недоумение —
что?*

что?

что свершается под корой?

кожу жжет тебе известь?

кружит тебя кровь?

*Дегтем, дегтем тебя мазать бы, а не известью,
дурочка древесная. Сунулась. Стояла бы себе как
соседки в белых передниках. Ишь...*

Так сидит старшеклассница меж подружек, бледна,
чем полна большеглазо —

не расскажет она.

Похудевшая тайна. Что же произошло?

Пахнут ночи миндально.

Невозможно светло.



Или тигр-людоед так тоскует, багров.
Нас зовет к невозможнейшему любовь!
А бывает, проснешься — в тебе звездопад,
тополиные мысли, и листья шумят.

По генетике

у меня четверка была.

Люди — это память наследственности.

В нас, как муравьи в банке,

напиханно шевелятся тысячелетия

У меня в пятке щекочет Людовик XIV.

Но это?..

Чтобы память нервов мешалась с хлорофиллами?

Или это биочудо?

Где живут дево-деревья?

Как женщины пахнут яблоком!..

...А 30-го стало ей неважно.

Ночью сбросила кожу, открыв наготу,

врыта в почву по пояс,

смертельно орет

и зовет

удаляющийся

самолет.

1965

ПЛАЧ ПО ДВУМ НЕРОЖДЁННЫМ ПОЭМАМ

Аминь.

Убил я поэму. Убил, не родивши. К Харонам!

Хороним.

Хороним поэмы. Вход всем посторонним.

Хороним.

На чёрной Вселенной любовниками отравленными

лежат две поэмы,

как белый бинокль театральный.

Две жизни прижались судьбой половинной —

две самых поэмы моих

соловьиных!

Вы, люди,

вы, звери,

пруды, где они зарождались

в Останкине, —

встаньте!

Вы, липы ночные,

как лапы в ветвях хиромантии, —

встаньте,

дороги, убитые горем,



довольно валяться в асфальте,
как волосы дыбом над городом,
вы встаньте.

Раскройте, гробы,
как складные ножи гиганта,
вы, встаньте —

Сервантес, Борис Леонидович,
Данте,
вы б их полюбили, теперь они тоже остан-
ки,
встаньте.

И Вы, Член Президиума Верховного Со-
вета
товарищ Гамзатов,
встаньте,
погибло искусство, незаменимо это,
и это не менее важно,
чем речь на торжественной дате,
встаньте.

Их гибель — судилище. Мы — арестанты.
Встаньте.

О, как ты хотела, чтоб сын твой шёл чисто
и прямо,
встань, мама.

Вы, встаньте в Сибири,
в Париже, в глухих



в городишках,
мы столько убили
в себе,
не родивши,
встаньте,
Ландау, погибший в бухом лаборанте,
встаньте,
Коперник, погибший в Ландау галантном,
встаньте,
вы, блядь, из джаз-банда,
вы помните школьные банты?
встаньте,
геройские мальчики вышли в герои, но в анти,
встаньте
(я не о кастратах — о самоубийцах,
кто саморастратил
святые крупницы),
встаньте.
Погибли поэмы. Друзья мои в радостной
панике —
«Вечная память!»
Министр, вы мечтали, чтоб юнгой в Атлантике
плавать,
вечная память,
громовый Ливанов, ну, где ваш несыгранный Гамлет?
Вечная память,



где принц ваш, бабуся?
А девственность
можно хоть в рамку обрмить,
вечная память,
зелёные замыслы, встаньте, как пламень,
вечная память,
мечта и надежда, ты вышла на паперть?
Вечная память!..

Аминь.

Минута молчанья. Минута — как годы.
Себя промолчали — всё ждали погоды.
Сегодня не скажешь, а завтра уже
не поправить.

Вечная память.

И памяти нашей, ушедшей, как мамонт,
вечная память.

Аминь.

Тому же, кто вынес огонь сквозь
потраву, —

Вечная слава!

Вечная слава!

1965



* * *

Ты пролётом в моих городах,
ты пролётом
в моих комнатах, баснях про Лондон
и осенних черновиках,
я люблю тебя, мой махаон,
оробевшее чудо бровастое.
«Приготовьте билетики». Баста.
Маханём!
Мало времени, чтоб мельтешить.
Перелётны, стонем пронзительно.
Я пролётом в тебе,
моя жизнь!
Мы транзитны.
Дай тепла тебе львовский октябрь,
дай погоды,
прикорни мне щекой на погоны,
беззащитною, как у котят.
Мы мгновенны? Мы после поймём,
Если в жизни есть вечное что-то —
это наше мгновенье вдвоём.
Остальное — пролётом!

1965



ПРОСТИ МЕНЯ, ЧТО ГОВОРЮ ПРИ ВСЕХ

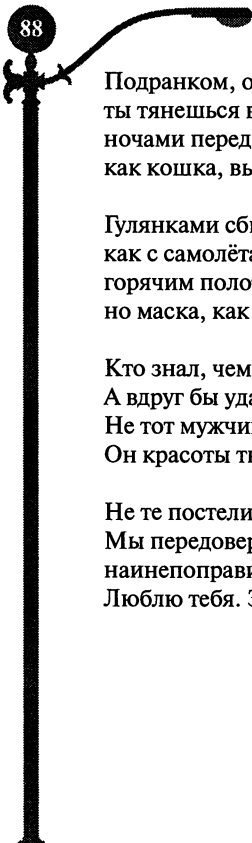
Одновременно открывают атом.
И гениальность стала плагиатом.

Твоё лицо ограблено, как сейф.

Ты с ужасом вливаешься в экраны —
украли!
Другая примеряет, хохоча,
твои глаза и стрижку по плеча.

(Живёшь — бежишь под шёпот во дворе:
«Ишь, баба — как Симона Синьоре».)

Соперницы! Одно лицо на двух.
И я глазел, болельщик и лопух,
как через страны,
будто в волейбол,
летит к другой лицо твоё и боль!




Подранком, оторвавшись от стаи,
ты тянешься в актёрские пристанища,
ночами перед зеркалом сидишь,
как кошка, выжидающаямышь.

Гулянками сбиваешь красоту,
как с самолёта пламя на лету,
горячим полотенцем трёшь со зла,
но маска, как проклятье, приросла.

Кто знал, чем это кончится? Прости.
А вдруг бы удалось тебя спасти!
Не тот мужчина сны твои стерёт.
Он красоты твоей не уберёт.

Не те постели застилали нам.
Мы передоверялись двойникам,
наинепоправимо непросты...
Люблю тебя. За это и прости.



Прости за черноту вокруг зрачков,
как будто ямы выдранных садов, —
прости! —
когда безумная почти
ты бросилась из жизни болевой
на камни
ненавистой
головой!..

Прости меня. А впрочем, не жалею.
Вот я живу. И это тяжелей.

...

Больничные палаты из дюрала.
Ты выздоравливаешь.
А где-то баба
за морем орёт —
ей жгут лицо, глаза твои и рот.

1965



ПОРТРЕТ ПЛИСЕЦКОЙ

В её имени слышится плеск аплодисментов.
Она рифмуется с плакучими лиственницами,
с персидской сиренью,
Елисейскими полями, с Пришествием.
Есть полюса географические, температурные,
магнитные.

Плисецкая — полюс магии.

Она ввинчивает зал в неистовую воронку
своих тридцати двух фуэте,
своего темперамента, ворожит,
закручивает: не отпускает.

Есть балерины тишины, балерины-снежины —
они тают. Эта же какая-то адская искра.

Она гибнет — полпланеты спалит!

Даже тишина её — бешеная, орущая тишина
ожидания, активно напряжённая тишина
между молнией и громовым ударом.

Плисецкая — Цветаева балета.

Её ритм крут, взрывен.



* * *

Жила-была девочка — Майя ли, Марина ли —
не в этом суть.

Диковатость её с детства была пуглива
и уже пугала. Проглядывалась сила
предопределённости её. Её кормят манной
кашей, молочной лапшой, до боли
затягивают в косички, втискивают первые
буквы в косые клетки; серебряная монетка,
которой она играет, блеснув рёбрышком,
закатывается под пыльное брюхо буфета.
А её уже мучит дар её — неясный самой
себе, но нешуточный.

«Что же мне делать, певцу и первенцу,
В мире, где наичернейший — сер!
Где вдохновенье хранят, как в термосе!
С этой безмерностью в мире мер?!»



* * *

Мне кажется, декорации «Раймонды»,
этот душный, паточный реквизит,
тяжеловесность постановки кого хочешь
разъярит. Так одиноко отчаян её танец.
Изумление гения среди ординарности —
это ключ к каждой её партии.

Крутая кровь закручивает её. Это
не обычная эоловая фея —
«Другие — с очами и с личиком светлым,
А я-то ночами беседую с ветром.

Не с тем — итальяйским
Зефиром младым, —
С хорошим, с широким,
Российским, сквозным!»

Впервые в балерине прорвалось нечто —
не салонно-жеманное, а бабье, нутряной
воплъ.

В «Кармен» она впервые ступила
на полную ступню.

Не на цыпочках пуантов, а сильно,
плотски, человечьи.

«Полон стакан. Пуст стакан.

Гомон гитарный, луна и грязь.

Вправо и влево качнулся стан...

Князем — цыган. Цыганом — князь!»

Ей не хватает огня в этом половинчатом мире.

«Жить приучил в самом огне,
Сам бросил в степь заледенелую!
Вот что ты, милый, сделал мне!
Мой милый, что тебе — я сделала?»

Так любит она.

В ней нет полумер, шепотка, компромиссов.
Лукав её ответ зарубежной корреспондентке.

— Что вы ненавидите больше всего?

— Лапшу!

И здесь не только зарёванная обида детства.

Как у художника, у неё всё нешуточное.

Ну да, конечно, самое отвратное —
это лапша,

это символ стандартности,
разваренной бесхребетности, пошлости,
склонённости, антидуховности.

Не о «лапше» ли говорит она в своих
записках:

«Люди должны отстаивать свои
убеждения...

...только силой своего духовного «я».

Не уважает лапшу Майя Плисецкая!

Она мастер.

«Я знаю, что Венера — дело рук,
ремесленник, — я знаю ремесло!»

* * *

Балет рифмуется с полётом.
Есть сверхзвуковые полёты.
Взбешённая энергия мастера — преодоление
рамок тела, когда мускульное движение
переходит в духовное.
Кто-то договорился до излишнего
«техницизма»
Плисецкой,
до ухода её в «форму».
Формалисты — те, кто не владеет
формой. Поэтому форма так заботит их,
вызывает зависть в другом. Вечные зубрилы,
они пыhtят над единственной рифмишкой
своей, потеют в своих двенадцати фуэте.
Плисецкая, как и поэт, щедра, перенасыщена
мастерством. Она не раб формы.
«Я не принадлежу к тем людям, которые
видят за густыми лаврами успеха девяносто
пять процентов труда и пять процентов
таланта».

Это полемично.

Я знал одного стихотворца, который брался
за пять человеко-лет обучить любого
стать поэтом.

А за десять человеко-лет — Пушкин?
Себя он не обучил.



* * *

Мы забыли слова «дар», «гениальность», «озарение». Без них искусство — нуль. Как показали опыты Колмогорова, не программируется искусство, не выводятся два чувства поэзии. Таланты не выращиваются квадратно-гнездовым способом. Они рождаются. Они — национальные богатства, как залежи радия, сентябрь в Сигулде или целебный источник. Такое чудо, национальное богатство — линия Плисецкой. Искусство — всегда преодоление барьеров. Человек хочет выразить себя иначе, чем предопределено природой. Почему люди рвутся в стратосферу? Что, дел на земле мало? Преодолевается барьер тяготения. Это естественное преодоление естества. Духовный путь человека — выработка, рождение нового органа чувств, повторяю, чувства чуда. Это называется искусством. Начало его в преодолении извечного способа выражения.

Все ходят вертикально, но нет, человек
стремится к горизонтальному полёту.
Зал стонет, когда летит тридцатиградусный
торс... Стравинский режет глаз
цветастостью. Скрябин пробовал цвета на слух.
Рихтер, как слепец, зажмурясь и втягивая
ноздрями, нащупывает цвет клавишами.
Ухо становится органом зрения. Живопись
ищет трёхмерность и движение на статичном
холсте.

Танец — не только преодоление тяжести.

Балет — преодоление барьера звука.

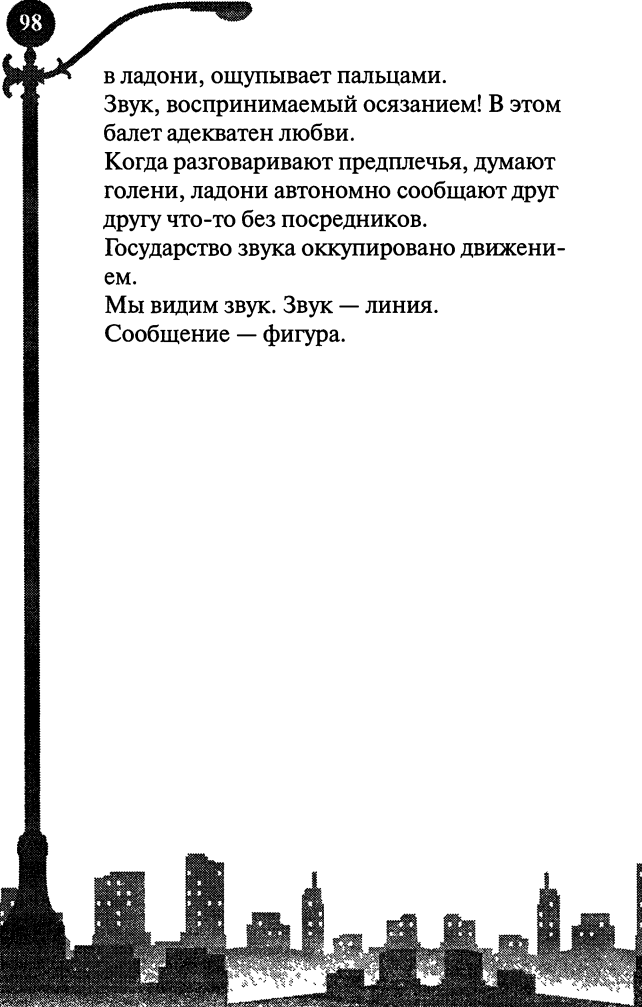
Язык — орган звука? Голос? Да нет же;
это поют руки и плечи, щебечут пальцы,
сообщая нечто высочайше важное,
для чего звук груб.

Кожа мыслит и обретает выражение.

Песня без слов? Музыка без звуков.

В «Ромео» есть мгновение,
когда произнесённая тишина, отомкнувшись
от губ юноши, плывёт, как воздушный шар,
невидимая, но осязаемая,
к пальцам Джульетты. Та принимает этот
материализовавшийся звук, как вазу,





в ладони, ощупывает пальцами.
Звук, воспринимаемый осязанием! В этом
балет адекватен любви.
Когда разговаривают предплечья, думают
голени, ладони автономно сообщают друг
другу что-то без посредников.
Государство звука оккупировано движени-
ем.
Мы видим звук. Звук — линия.
Сообщение — фигура.

* * *

Параллель с Цветаевой неслучайна.
Как чувствует Плисецкая стихи!
Помню её в чёрном на кушетке,
как бы оттолкнувшуюся от слушателей.
Она сидит вполоборота, склонившись, как
царскосельский изгиб с кувшином. Глаза её
выключены. Она слушает шеей. Модильянистой
своей шеей, линией позвоночника, кожей
слушает. Серьги дрожат, как дрожат ноздри.
Она любит Тулуз-Лотрека.
Летний настрой и отдых дают ей
библейские сбросы Севана и Армении,
костёр, шашлычный дымок.
Припорхнула к ней как-то посланница
элегантного журнала узнать о рационе
примы.
Ах, эти эфирные эльфы, эфемерные сильфиды
всех эпох! «Мой пеньюар состоит из
одной капли шанели». «Обед балерины —
лепесток розы...»
Ответ Плисецкой громоподобен и гомеричен.
Так отвечают художники и олимпийцы.
«Сижу не жрамши!»
Мощь под стать Маяковскому.
Какая издевательская полемичность.

* * *

Я познакомился с ней в доме Лили Брик, где всё говорит о Маяковском. На стенах ухмылялся в квадратах автопортрет Маяковского.

Женщина в сером всплескивала руками.

Она говорила о руках в балете.

Пересказывать не буду. Руки метались и плескались под потолком, одни руки.

Ноги, торс были только вазочкой для этих обнажённо плескавшихся стеблей.

В этот дом приходиться опасно. Вечное командорское присутствие Маяковского сплющивает ординарность. Не всякий выдерживает такое соседство.

Майя выдерживает. Она самая современная из наших балерин.

Это балерина ритмов XX века. Ей не среди лебедей танцевать, а среди автомашин и лебёдок! Я её вижу на фоне чистых линий Генри Мура и капеллы Роншан.

«Гений чистой красоты» — среди издёрганного, суматошного мира.

Красота очищает мир.

Отсюда планетарность её славы.

Париж, Лондон, Нью-Йорк выстраивались

в очередь за красотой, за билетами
на Плисецкую.

Как и обычно, мир ошеломляет художник,
ошеломивший свою страну.

Дело не только в балете. Красота спасает
мир. Художник, создавая прекрасное,
преображает мир, создавая очищающую
красоту. Она ошеломительно понятна
на Кубе и в Париже. Её абрис схож
с летящими египетскими контурами.

Да и зовут её кратко, как нашу сверстницу
в колготках, и громоподобно, как богиню
или языческую жрицу, — Майя.



* * *

*Что делать страшной красоте,
присевшей на скамью сирени?
Б. Пастернак*

Недоказуем постулат.
Пасть по-плисецки на колени,
когда она в «Анне Карениной»,
закутана в плиссе-гофре,
в гордынь Кардена и Картье,
в самоубийственном смиренье
лиловым пеплом на костре
пред чудищем узкоколейным
о смертном молит колесе?
Художник — даже на коленях —
победоноснее, чем все.
Валитесь в ноги красоте.
Обезоруживает гений —
как безоружно карате.

1966

ТОСКА

Загляжусь ли на поезд с осенних откосов,
забреду ли в вечернюю деревушку —
будто душу высасывают насосом,
будто тянет вытяжка или вьюшка,
будто что-то случилось или случится —
ниже горла высасывает ключицы.
Или ноет какая вина запущенная?
Или женщину мучил — и вот наказание?
Сложишь песню — отпустит, а дальше — пуще.
Показали дорогу, да путь заказали.
Точно тайный горб на груди таскаю —
тоска такая!
Я забыл, какие у тебя волосы,
я забыл, какое твое дыханье,
подари мне прощенье,
коли виновен,
а простивши — опять одари виною...

1967



НЕ ПИШЕТСЯ

Я — в кризисе. Душа нема.
«Ни дня без строчки», — друг мой дробит.
А у меня —
ни дней, ни строчек.
Поля мои лежат в глуши.
Погашены мои заводы.
И безработица души
зияет страшною зевотой.
И мой критический истец
в статье напишет, что, окрысаясь,
в бескризиснейшей из систем
один переживаю кризис.
Мой друг, мой северный,
мой неподкупный друг
хорош костюм, да не по росту,
внутри всё ясно и вокруг —
но не поётся.
Я деградирую в любви.
Дружу с оторвою трактирною.
Не деградируете вы —
я деградирую.
Был крепок стих, как рафинад.
Свистал хоккейным бомбардиром.



Я разучился рифмовать.
Не получается.
Чужая птица издали
простонет перелётным горем.
Умеют хором журавли.
Но лебедь не умеет хором.
О чём, мой серый, на ветру
ты плачешь белому Владимиру?
Я этих нот не подберу.
Я деградирую.
Семь поэтических томов
в стране выходит ежесуточно.
А я друзей и городов
бегу, как бешеная сука,
в похолодавшие леса
и онемевшие рассветы,
где деградирует весна
на тайном переломе к лету...
Но верю я, моя родня —
две тысячи семьсот семнадцать
поэтов нашей федерации —
стихи напишут за меня.
Они не знают деградации.

1967



НА ПЛОТАХ

Нас несет Енисей.

Как плоты над огромной и черной водой.

Я — ничей!

Я — не твой, я — не твой, я — не твой!

Ненавижу провал

твоих губ, твои волосы,

платье, жильё.

Я плевал

На святое и лживое имя твое!

Ненавижу за ложь

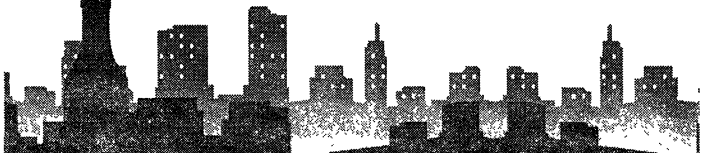
телеграмм и открыток твоих,

Ненавижу, как нож

по ночам ненавидит живых.

Ненавижу твой шелк,

проливные нейлоны гардин.



Мне нужнее мешок, чем холстина картин!
Атаманша-тихоня
 телефон-автоматной Москвы,
Я страшон, как Иона,
 почернел и опух от мошки.
Блещет, словно сазан,
 голубая щека рыбака.
«Нет» — слезам.
«Да» — мужским, продубленным рукам.
«Да» — девчатам разбойным,
 купающим МАЗ, как коня,
«Да» — брандспойтам,
Сбивающим горе с меня.

1967



РОЩА

Не трожь человека, деревце,
костра в нем не разводи.
И так в нем такое делается
Боже, не приведи!
Не бей человека, птица,
еще не открыт отстрел.
Круги твои —
ниже,
тише.
Неведомое — острей.

Неопытен друг двуногий.
Вы, белка и колонок,
снимите силки с дороги,
чтоб душу не наколол.



Не браконьерствуй, прошлое.
Он в этом не виноват.
Не надо, вольная рощица,
к домам его ревновать.
Такая стоишь тенистая,
с начесами до бровей
травили его, освистывали,
ты-то хоть не убей!
Отдай ему в воскресенье
все ягоды и грибы,
пожалуй ему спасение,
спасением погуби.

1968



ЦИКЛАМЕНА

У адского края, где рушатся стены,
не понимая, цветет цикламена.

Не понимая, не понимая,
что жить остается так минимально,
доверчивой трубкой детского ротика
цветет целомудренная эротика.
Букашка на щечке щекочет, как родинка,
не понимая, что рушится родина.
Иль то, что не знаем, поняв сокровенно?

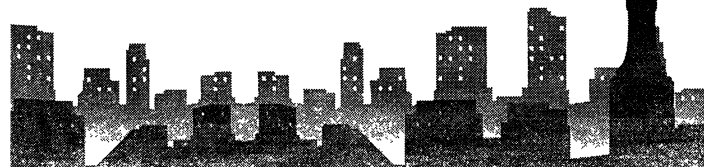
Цвети, цикламена!



СТАРАЯ ПЕСНЯ

Пой, Георгий, прошлое болит.
На иконах — конская моча.
В янычары отняли мальчика.
Он вернется — родину спалит.
Мы с тобой, Георгий, держим стол.
А в глазах — столетия горят.
Братия насилуют сестер.
И никто не знает, кто чей брат.
И никто не знает, кто чей сын,
материнский вырезав живот.
Под какой из вражеских личин
раненая родина зовет?
Если я, положим, янычар,
не свои ль сжигаем алтари?
Где чужие — можем различать,
но не понимаешь, где свои.
Вырванные груди волоча,
остолбеневаая от любви,
мама, отшатнись от палача.
Мама! У него глаза — твои.

1968



ГОРНЫЙ МОНАСТЫРЬ

Вода и камень.
Вода и хлеб.
Спят вверх ногами
Борис и Глеб.
Такая мятная
вода с утра —
вкус Богоматери
и серебра!
Плюс вкус свободы
без лишних глаз
Как слово Бога —
природы глас.
Стена и воля.
Вода и плоть.
А вместо соли —
подснежников щепоть!

1970



* * *

Наш берег песчаный и плоский,
заканчивающийся сырой
печальной и тёмной полоской,
как будто платочек с каймой.

Направо холодное море,
налево песочечный быт.
Меж ними, намокши от горя,
темнея, дорожка блестит.

Мы больше сюда не приедем.
Давай по дорожке пройдем.
За нами — к добру, по приметам —
следы отольют серебром.

1971



ДВЕ ПЕСНИ

1. Он

Возвращусь в твой сад запущенный,
где ты в жизнь меня ввела,
в волосы твои распущенные
шептал первые слова.

Та же дача полутёмная.
Дочь твоя, белым-бела,
мне в лицо моё смятённое
шепчет первые слова.

А потом лицом в колени
белокурые свои
намотает, как колечки,
вокруг пальчиков ступни.
Так когда-то ты наматывала
свои царские до пят
в кольца чёрные, агатовые
и гадала на агат!

И печальница другая
Усмехается, как мать:
«Ведь венчаются ногами.
Надо б ноги обручать».
В этом золоте и черни
есть смущённые черты,
мятный свет звезды дочерней,

счастье с привкусом беды.
Оправдались суеверия.
По бокам моим встаёт
горестная артиллерия —
ангел чёрный, ангел белая —
перелёт и недолёт!
Белокурый недолеток,
через годы темноты
вместо школьного, далёкого,
говорю святое «ты».
Да какие там экзамены,
если в бледности твоей
проступают стоны мамыны
рядом с ненавистью к ней.
Разлучая и сплетая,
перепутались вконец
чёрная и золотая —
две цепочки из колец.
Я б сказал, что ты, как арфа,
чешешь волосы до пят.
Но важней твоё «до завтра».
До завтра б досуществовать!



2. Она

Волосы до полу, чёрная масть, —
мать.

Дождь белокурый, застенчивый в дрожь, —
дочь.

— Гость к нам стучится, оставь меня с ним
на всю ночь,

дочь.

— В этой же просьбе хотела я вас умолять,
мать.

— Я — его первая женщина, вернулся, до
ласки охоч,

дочь.

— Он — мой первый мужчина, вчера я
боялась сказать,

мать.

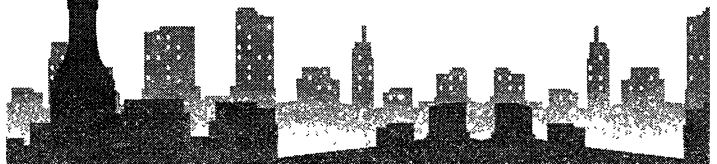
— Доченька... Сволочь!.. Мне больше
не дочь,

прочь!..

....

— Это о смерти его телеграмма,
мама!..

1971



ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ЗА СТОЛОМ

Уважьте пальцы пирогом,
в солонку курицу макая,
но умоляю об одном —
не трожьте музыку руками!
Нашарьте огурец со дна
и стан справа сидящей дамы,
даже под током провода —
но музыку — нельзя руками.
Она с душою наравне.
Берите трёшницы с рублями,
но даже вымытыми не
хватайте музыку руками.
И прогрессист, и супостат,
мы материалисты с вами,
но музыка — иной субстант,
где не губами, а устами...
Руками ешьте даже суп,
но с музыкой — беда такая! —
чтоб вам не оторвало рук,
не трожьте музыку руками.

1971



ПЕТРАРКА

Не придумано истинней мига,
чем раскрытые наугад —
недочитанные, как книга, —
разметавшись, любовники спят.

1972



АПЕЛЬСИНЫ

Самого его на бомбе подорвали —
вечный мальчик, террорист, миллионер...

Как доверчиво усы его свисали
точно гусеница-землемер!

Его имя раньше женщина носила.

И ей русский вместо лозунга «люблю»
расстелил четыре тыщи апельсинов,
словно огненный булыжник на полу.

И она глазами тёмными косила.

Отражались и отплясывали в ней
апельсины, апельсины, апельсины,
словно бешеные яблоки коней!..

Рушится уклад семьи спартанской.

Трещат свечи. Пахнет кожа.

Чувство раскрывается спонтанно,
как у постового кобура.

Как смешались в *апельсинном дыме*
к нему ревность и к тебе любовь!

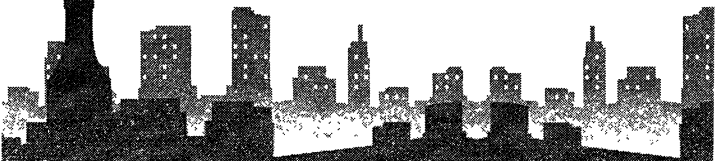
В чудное мгновенье молодые
жёны превращаются во вдов.

Апельсины, апельсины, апельсины...

На меня, едва я захмелел,
наезжают его чёрные усищи,
словно гусеница-землемер.

1972

В человеческом организме
девяносто процентов воды,
как, наверное, в Паганини
девяносто процентов любви!
Даже если — как исключенье —
вас растаптывает толпа,
в человеческом назначении
девяносто процентов добра.
Деваносто процентов музыки,
даже если она беда,
так и во мне, несмотря на мусор,
девяносто процентов Тебя.

1972

* * *

На суде, в раю или в аду
скажет он, когда придут истцы:
«Я любил двух женщин как одну,
хоть они совсем не близнецы».

Все равно, что скажут, все равно...
Не дослушивая ответ,
он двустворчатое окно
застегнет на черный шпингалет.

1972



Мы нарушили Божий завет

Б. Ахмадулиной

Мы нарушили Божий завет.
Яблоко съели.
У поэта напарника нет,
все дуэты кончались дуэлью.
Мы нарушили кодекс людской —
быть взаимной мишенью.
Наш союз осуждён мелюзгой
хуже кровосмешенья.
Нарушительница родилась
с белым голосом в тёмное время.
Даже если земля наша — грязь,
рождество твоё — ей искупленье.
Был мой стих, как фундамент, тяжёл,
чтобы ты невесомела в звуке.



Я красивейшую из жён
подарил тебе утром в подруги.
Я бросал тебе в ноги Париж,
августейший оборвыш, соловка!
Мне казалось, что жизнь — это лишь
певчей силы заложник.
И победа была весела.
И достанет нас кара едва ли.
А расплата произошла —
мы с тобою себя потеряли.
Ошибясь в этой жизни дотла,
улыбнись: я иной и не жажду.
Мне единственная мила,
где с тобою мы спели однажды.

1972



* * *

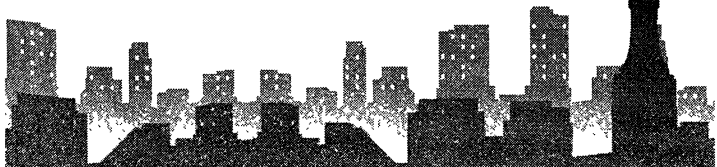
Я не ведаю в женщине той
чёрной речи и чуингама,
ты, возлюбленная, со мной
разговаривала жемчугами.
Простирала не руку, а длань.
Той, возлюбленной, мелкое чуждо.
А её уязвленная брань —
доказательство чувства.

1973

* * *

Стихи не пишутся — случаются,
как чувства или же закат.
Душа — слепая соучастница.
Не написал — случилось так.

1973



РАЗГОВОР С ЭПИГРАФОМ

*Александр Сергеевич,
Разрешите представиться.
Маяковский!*

Владимир Владимирович, разрешите
представиться!

Я занимаюсь биологией стиха.

Есть роли

более пьедестальные,

но кому-то надо за истопника...

У нас, поэтов, дел по горло,

кто занят садом, кто содокладом.

Другие, как страусы,

прячут головы, —

отсюда смотрят и мыслят задом.

Среди идиотств, суеты, наветов

поэт одиозен, порой смешон —

пока не требует поэта

к священной жертве

Стадион!

И когда мы выходим на стадионы в Томске

или на рижские Лужники,

вас понимающие потомки

тянутся к завтрашним сквозь стихи.

Колоссальнейшая эпоха!

Ходят на поэзию, как в душ Шарко.

Даже герои поэмы
«Плохо!»
требуют сложить о них «Хорошо!»
Вы ушли,
понимаемы процентов на десять.
Оставались Асеев и Пастернак.
Но мы не уйдём —
как бы кто не надеялся! —
мы будем драться за молодняк.
Как я тоскую о поэтическом сыне
класса «Ан» и «707-Боинга»...
Мы научили
свистать
пол-России.
Дай одного
соловья-разбойника!..
И когда этот случай счастливый представится,
отобью телеграмку, обкусав заусенцы:
**«ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ
РАЗРЕШИТЕ ПРЕСТАВИТЬСЯ —
ВОЗНЕСЕНСКИЙ»**

1973

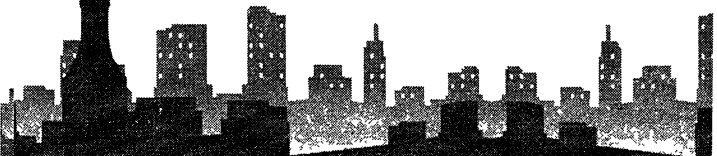
* * *

Теряю свою независимость,
поступки мои, верней, видимость
поступков моих и суждений
уже ощущают уздечку,
и что там софизмы нанизывать!

Где прежде так резво бежалось,
путь прежний мешает походке,
как будто магнитная залежь
притягивает подковки!
Безволье какое-то, жалость...
Куда б ни позвали — пожалуйста,
как набережные кокотки.

Какое-то разноголосье,
лишившееся дирижера,
в душе моей стонет и просит,
как гости во время дождя.

И галстук, завязанный фигой,
искусства не заменитель.
Должны быть известными — книги,
а сами вы незнамениты,
чем мина скромнее и глуше,
тем шире разряд динамита.



Должны быть бессмертными — души,
а сами вы смертно-телесны,
телевизионные уши
не так уже интересны.
Должны быть бессмертными рукописи,
а думать — кто купит? — бог упаси!

Хочу низложенья просторного
всех черт, что приписаны публикой.
Монархия первопрестольная
в душе уступает республике.
Тоскую о милых устоях.

Отказываюсь от затворничества
для демократичных забот —
жестяной лопатой дворничьей
расчищу снежок до ворот.

Есть высшая цель стихотворца —
ледок на крылечке оббить,
чтоб шли отогреться с морозца
и исповеди испить.

1974

ПОРНОГРАФИЯ ДУХА

Отплясывает при народе
с поклонником голым подруга.
Ликуй, порнография плоти!
Но есть порнография духа.
Докладчик порой на лектории —
в искусстве силён, как стряпуха, —
раскроет на аудитории
свою порнографию духа.
В Пикассо ему всё не ясно,
Стравинский — безнравственность слуха.
Такого бы постеснялась
любая парижская шлюха.
Когда танцовщицу раздели,
стыжусь за пославших её.
Когда мой собрат по панели,
стыжусь за него самого.
Подпольные миллионеры,
когда твоей родине худо,
являют в брильянтах и нерпах

свою порнографию духа.
Когда на собрании в зале
неверного судят супруга,
желая интимных деталей,
ревёт порнография духа.
Как вы вообще это смеете!
Как часто мы с вами пытаемся
взглянуть при общественном свете,
когда и двоим — это таинство...
Конечно, спать вместе не стоило б...
Но в скважине голый глаз
значительно непристойнее
того, что он видит у вас...
Клеймите стриптизы экранные,
венерам закутайте брюхо,
Но всё-таки дух — это главное.
Долой порнографию духа!

1974

* * *

Не возвращайтесь к бывшим возлюбленным,
бывших возлюбленных на свете нет.

Есть дубликаты —
 как домик убранный,
где они жили немного лет.

Вас лаем встретит собачка белая,
и расположенные на холме
две рощи — правая, а позже левая —
повторят лай про себя, во мгле.

Два эха в рощах живут отдельные,
как будто в стереоколонках двух,
все, что ты сделала и что я сделаю,
они разносят по свету вслух.

А в доме эхо уронит чашку,
ложное эхо предложит чай,
ложное эхо оставит на ночь,
когда ей надо бы закричать:



«Не возвращайся ко мне, возлюбленный,
былых возлюбленных на свете нет,
две изумительные изюминки,
хоть и расправятся тебе в ответ...»

А завтра вечером, на поезд следуя,
вы в речку выбросите ключи,
и роща правая, и роща левая
вам вашим голосом прокричит:

«Не покидайте своих возлюбленных.
Былых возлюбленных на свете нет...»

Но вы не выслушаете совет.

1974



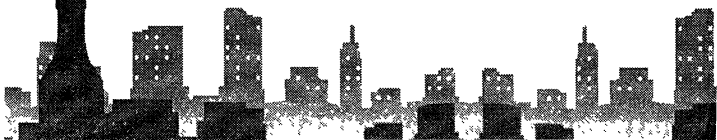
* * *

Не отрекусь
от каждой строчки прошлой —
от самой безнадежной и продрогшей
из актрисуль.

Не откажусь
от жизни торопливой,
от детских неоправданных трамплинов
и от кошунств.

Не отступлюсь —
«Ни шагу! Не она ль за нами?»
Наверное, с заблудшими, лгунами...
Мой каждый куст!

В мой страшный час,
хотя и бредовая,
поэзия меня не предавала,
не отеклась.



Я жизнь мою
в исповедальне высказал.
Но на весь мир транслировалась исповедь.
Все признаю.

Толпа кликуш
ждет, хохоча, у двери:
«Кус его, кус!»
Все, что сказал, вздохнув, удостоверю.

Не отрекусь.

1975



ЗВЕЗДА

Аплодировал Париж
в фестивальном дыме.
Тебе дали первый приз —
«Голую богиню».
Подвезут домой друзья
от аэродрома.
Дома нету ни копыя.
Да и нету дома.
Оглядишь свои углы
звёздными своими:
стены пусты и голы —
голая богиня.
Предлагал озолотить
режиссёр павлиний.
Ты ж предпочитаешь жить
голой, но богиней.
Подвернётся, может, роль,
с текстами благими.
Мне плевать, что гол король!



Голая богиня...
А за окнами стоят
талые осины
обнажённо, как
талант, —
голая Россия!
И такая же одна
грохает тарелки
возле вечного огня
газовой горелки.
И мерцает из угла
в сигаретном дыме —
ах, актёрская судьба!
Голая богиня.

1975



Как сжимается сердце дрожью
за конечный порядок земной.
Вдоль дороги стояли рощи
и дрожали, как бег трусцой.
Всё — конечно, и ты — конечна.
Им твоя красота пустяк.
Ты останешься в слове, конечно.
Жаль, что не на моих устах.

1976

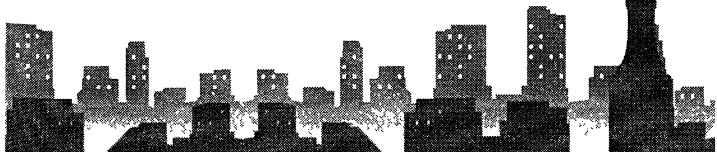


РУССКО-АМЕРИКАНСКИЙ РОМАНС

И в моей стране, и в твоей стране
до рассвета спят — не спиной к спине.

И одна луна, золота вдвойне,
И в моей стране, и в твоей стране.
И в одной цене — ни за что, за так,
для тебя — восход, для меня — закат.
И предутренний холодок в окне
не в твоей вине, не в моей вине.
И в твоём вранье, и в моём вранье
есть любовь и боль по родной стране.
Идиотов бы поубрать вдвойне —
и в твоей стране, и в моей стране.

1977



КНИЖНЫЙ БУМ

Попробуйте купить Ахматову.
Вам букинисты объяснят,
что чёрный том её агатовый
куда дороже, чем агат.
И многие не потому ли —
как к отпущению грехов —
стоят в почётном карауле
за томиком её стихов?
«Прибавьте тиражи журналам», —
мы молимся книгобогам,
прибавьте тиражи желаньям
и журавлям!
Всё реже в небесах бензиновых
услышишь журавлиный зов.
Всё монолитней в магазинах
сплошной Массивий Муравлёв.
Страна поэтами богата,
но должен инженер копить



в размере чуть ли не зарплаты,
чтобы Ахматову купить.
Страною заново открыты
те, кто писали «для элит».
Есть всенародная элита.
Она за книгами стоит.
Страна желает первородства.
И может, в этом добрый знак —
Ахматова не продаётся,
не продаётся Пастернак.

1977



РЕСТОРАН

Я пою в нашем городке
каждый день в праздной тесноте.
Ты придёшь, сядешь в уголке.
подберу музыку к тебе.

Подберу музыку к глазам,
подберу музыку к лицу,
подберу музыку к словам,
что тебе в жизни не скажу.

Потанцуй под музыку мою.
Всё равно, что в жизни суждено —
под мою ты музыку танцуешь,
всё равно...

Ты уйдёшь, с кем-то ты уйдёшь.
Я тебя взглядом провожу.
За окном будет только дождь.
Подберу музыку к дождю.



В ресторан ходят отдохнуть
и когда всё не по нутру.
Подберу с ходу что-нибудь,
как тебя помню, подберу.

Мы нашли разную звезду.
Не всегда музыка одна.
Если я в жизни упаду,
подберёт музыка меня.

1977



ЗВЕЗДА НАД МИХАЙЛОВСКИМ

Поэт не имеет опалы,
спокоен к награде любой.
Звезда не имеет оправы
ни чёрной, ни золотой.
Звезду не убить каменюгами,
ни точным прицелом наград.
Он примет удар камер-юнкерства,
посетует, что маловат.
Важны ни хула или слава,
а есть в нём музыка иль нет.
Опальны земные державы,
когда отвернётся поэт.

1978



СВЕТ ДРУГА

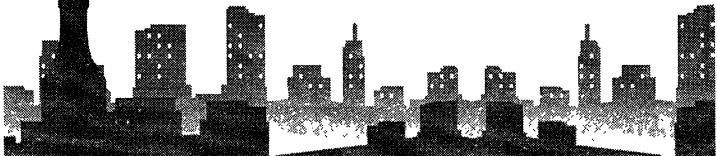
Я друга жду. Ворота отворил,
зажѐг фонарь под скосами перил.
Я друга жду. Глухие времена.
Жизнь ожиданием озарена.
Он жмѐт по окружной как на пожар,
как я в его невзгоды приезжал.
Приедет. Над сараями сосна
заранее освещена.
Бежит, фосфоресцируя, кобель.
Ты друг? Но у тебя — своих скорбей...
Чужие фары сгрудят темноту —
я друга жду.
Сказал — приедет после девяти.
По всей округе смотрят детектив.
Зайдѐт вражда. Я выгоню вражду —
я друга жду.
Проходят годы — Германа всё нет.
Из всей природы вырубают свет.
Увидимся в раю или аду.
Я друга жду, всю жизнь я друга жду!
Сказал — приедет после девяти.
Судьба, обереги его в пути.

1979



МОНОЛОГ ВЕКА

Приближается век мой к закату —
ваш, мои отрицатели, век.
На стол карты!
У вас века другого нет.
Пока думали очевидцы:
принимать его или как? —
век мой, в сущности, осуществился
и стоит, как кирпич, в веках.
Называйте его уродливым.
Шлите жалобы на Творца.
На дворе двадцатые годы —
не с начала, так от конца.
Историческая симметрия.
Свет рассветный — закатный снег.
Человечья доля смиренная —
быть как век.
Помню, вышел сквозь лёт утиный
инженера русского сын



из Ворот Золотых Владимира.
Посмотрите, что стало с ним.
Бейте века во мне пороки,
как за горести бытия
дикари дубасили Бога.
Специален Бог для битья.
Века Пушкина и Пуччини
мой не старше и не новей.
Согласитесь, при Кампучии —
мучительней соловей.
В схватке века с активной теменью
каков век, таков и поэт.
Любимые современники,
у вас века другого нет...
...Изучать будут век мой в школах,
пока будет земля землёй,
я не знаю, конечно, сколько,
но одно понимаю — мой.

1979



ЧЁРНАЯ БЕРЁЗА

Лягу навзничь — или это нервы?
От земного сильного огня
тьень моя, отброшенная в небо,
наклонившись, смотрит на меня.
Молодая чёрная берёза!
Видно, в Новой Англии росла.
И её излюбленная поза —
наклоняться и глядеть в глаза.
Холмам Нового Иерусалима
холмы Новой Англии близки.
Белыми церковками над ними
память завязала узелки.
В чёрную берёзовую рощу
заходил я ровно год назад
и с одной, отбившейся от прочих,
говорил — и вот вам результат.
Что сказал? «Небесная бесовка,
вам привет от северных сестёр...»
Но она спокойно и бессонно,
не ответив, надо мной растёт.

1979

АННАБЕЛ ЛИ

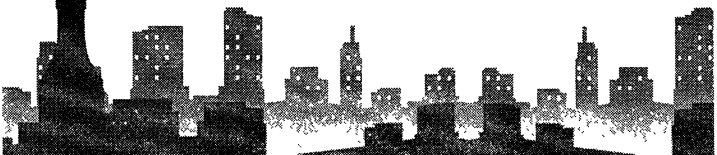
На мотив Г. Грасса

Я подбираю палую вишню,
падшую Аннабел Ли.
Как ты лежала в листьях подгнивших,
в мухах-синюхах,
скотиной занюхана,
лишняя Аннабел Ли!
Лирика сдохла в пыли.
Не понимаю, как мы могли
пять поколений искать на коленях,
не понимая, что околели
вишни и Аннабел Ли?!
Утром найду, вскрыв петуший желудок,
личико Аннабел Ли.
Как ты лежала чутко и жутко
вместе с личинками, насекомыми,
с просом, заглотанным медальоном,
непереваренная мадонна,
падшая Аннабел Ли!
Шутка ли это? В глазах моих жухлых
от анальгина нули.
Мне надоело круглые сутки, —
жизни прошли! —
в книгах искать, в каннибальских желудках
личико Аннабел Ли.

1980

КУПАНИЕ В РОСЕ

На лугу меж двух озер
вне обзора от шоссе,
как катается ковер,
мы купаемся в росе.
Ледяные одуванчики
исхлеставши плечи все,
ароматом обдавайте!
Мы купаемся в росе.
Все грехи поискупали,
окрещенные в красе,
не в людских слезах — в купавиных,
брось врачей! Купнись в росе!
Принимай росные ванны!
Никакого ОРЗ.
Как шурупчик высоты,
дует шершень от шоссе
где тут ты? и где цветы?



он ворчит: «Ля вам шерше...»
Милые, нас не скосили!
Равны ежику, осе,
мы купаемся в России,
мы купаемся в росе.
Полосатый, словно зебра —
ну и сервис! — след любви.
Ты в росе, в росе, в росевросевросево — серва
ландыша не раздави!..
Как приятно на веранде
пить холодное «gosei» ...
Вы купайтесь в бриллиантах!
Мы купаемся в росе.



Н.У. — РЕСТОРАН

Моей жизни часть эмигрировала.
Здесь живет. Пустила корня
С интересом сейчас игривым
рассматривает меня.
Ты алмаз, но сияешь — краешком
глаза, носа — как в нашу рань.
Но сейчас ты — граненый камушек.
Как далась тебе эта грань!
Расшибалась всмятку, в восьмерки.
Пропасть пробовала на боках.
Держишь русский кабак в Нью-Йорке
на отчаянных каблучках...
В этой темной шикарной яме
я узнаю — тебя потом —
неполоманное твое сиянье,
словно малый алмазный фонд.



Узнаю, что никто не знает,
что таю, от себя храня.
Вышибала, тобою нанят,
усмехается на меня.

Якиманкой бежала шибко,
в мировой провал сорвалась.
И сияешь. И не расшиблась.
Доказала, что ты алмаз.



МАТЬ

Охрани, Провидение, своим махом шагреневым,
пощади ее хижину —
мою мать — Вознесенскую Антонину Сергеевну,
урожденную Пастушихину.

Воробышко серебряно пусть в окно постучится:
«Добрый день, Антонина Сергеевна,
урожденная Пастушихина!»

Дал отец ей фамилию, чтоб укутать от Времени.
Ее беды помиловали, да не все, к сожалению.

За житейские стыни, две войны и пустые деревни
родила она сына и дочку, Наталью Андреевну.

И, зайдя за калитку, в небесах над речушкой
подарила им нитку — уток нитку жемчужную.

Ее серые взоры, круглый лоб без морщинки,
коммунальные ссоры утешали своей
беззащитностью.

Любит Блока и Сирина, режет рюмкой пельмени.
Есть другие россии. Но мне эта милее.

Что наивно просила, насмотревшись по телику:
«Чтоб тебя не убили, сын, не ездь в Америку...»

Назовите по имени веру женскую,
независимую пустынную —
Антонину Сергеевну Вознесенскую,
урожденную Пастушихину.



МИЛЛИОН РОЗ

Жил-был художник один,
домик имел и холсты.
Но он актрису любил,
ту, что любила цветы.

Он тогда продал свой дом —
продал картины и кров —
и на все деньги купил
целое море цветов.

Миллион, миллион, миллион алых роз
из окна видишь ты.
Кто влюблен, кто влюблен,
кто влюблен — и всерьез! —
свою жизнь для тебя превратит в цветы.

Утром встаешь у окна —
может, сошла ты с ума?
Как продолжение сна,
площадь цветами полна.



Похолодеет душа —
что за богач там чудит?
А за окном без гроша
бедный художник стоит.

Встреча была коротка.
В ночь ее поезд увез.
Но в ее жизни была
песня безумная роз.

Прожил художник один.
Много он бед перенес.
Но в его жизни была
целая площадь из роз.

1981



ИНСТРУКЦИЯ

Во время информационного взрыва,
если вы живы,
что редко, —
накрывайтесь «Вечёркой» или районным
«Призывом»

и не думайте о тарелках.

Во время информационного взрыва
нет пива,

нет рыбы, есть очередь за чтивом.

Мозги от чёрного детектива
усыхают, как черносливы.

Контуженные информационным взрывом,
мужчины становятся игривы и вольнолюбивы,
суждены им благие порывы,
но

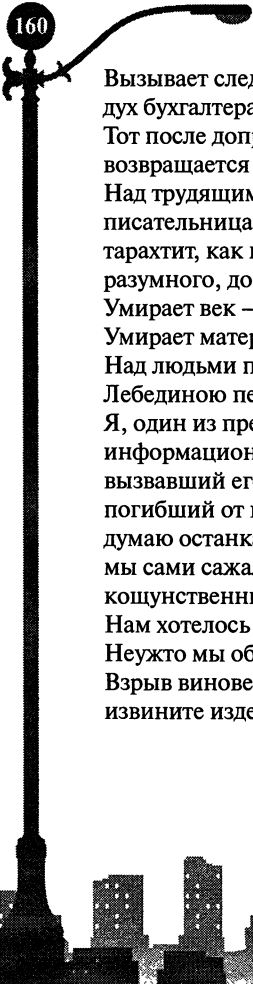
свершить ничего не дано,
они играют в подъездах трио,
уходят в домино
или кассетное кино.

Сфинкс, реши-ка наши кроссворды!
Человечество утроилось.


Информированные красотки

перешли на запоминающее устройство.
Музыкальные браконьеры
преодолевают звуковые барьеры.
Многие трупы
записываются в тургруппы.
Информационные графоманы
пишут, что диверсант Румянов,
имя скрыв,
в разных городах путём обманов
подготавливает демографический взрыв.
Симптомы:
тяга к ведьмам, спиритам и спиртному.
Выделяется колоссальная духовная
энергия,
вызывают дух отца Сергия.
Над Онегою
ведьмы в очереди зубоскалят:
почему женщин не берут на «Скайлэб»?
Астронавт NN к полёту готов,
и готов к полёту спирит Петров.
Как прекрасно лететь над полем
в инфракрасном плаще с подбоем!





Вызывает следователь МУРа
дух бухгалтера убиенного.
Тот после допроса хмуро
возвращается в огненную геенну.
Над трудящимися Севера
писательница, тепло встреченная,
тарахтит, как пустая сеялка
разумного, доброго, вечного...
Умирает век — выделяется его биополе.
Умирает материя — выделяется дух.
Над людьми проступают идея и воля.
Лебединую песней летит тополиный пух.
Я, один из преступных прародителей
информационного взрыва,
вызвавший его на себя,
погибший от правды его и кривды,
думаю останками лба:
мы сами сажали познания яблони,
кощунственные неомичурины.
Нам хотелось правды от Бога и дьявола!
Неужто мы обмишурились?
Взрыв виновен, и, стало быть, мы виновны, —
извините издержки наших драк.



Но в прорывы бума вошёл феномен —
миллионные Цветаева и Пастернак.
Что даст это дерево взрыва,
привитое в наши дни
к антоновскому наиву
читающей самой страны?
Озёрной, интуитивной,
конкретной до откровенья...
Голову ампутируйте,
чтоб в душу не шла гангрена.
Подайте калеке духовной войны!
Сломанные судьбы — издержки игр.
Мы с тобой погибли от информационной войны.
Информационный взрыв — бумажный тигр.
...Как тихо после взрыва! Как вам здорово!
Какая без меня вам будет тишина...
Но свободно залетевшее
иррациональное зёрнышко
взойдёт в душе озёрного пацана.
И всё будет оправдано этими очами —
наших дней запутавшийся клубок.
В начале было Слово. Он всё начнёт сначала.
Согласно информации, слово — Бог.

1981

* * *

Две школы — женская, мужская.
Две школы — проза и стихи.
Зачем их разлучать? Не знаю.
Я пел хоралы и хиты.

Классификатор скрупулёзный,
поди попробуй разними —
стихами были или прозой
поэтом прожитые дни?

1981

* * *

Ты мне никогда не снишься.
Живу Тобой наяву.
Снится всё остальное.
И это дурные сны.
Спишь на подушке ситчика.
Вся загорела слишком.
Дышит, как чайное ситечко,
выбрита подмышка.
Набережная Софийская!
Двери балконной скрип.
Медвяная метафизика
пахнущих Тобой лип.

1982

РЕГТАЙМ

Полюбите пианиста!
Хоть он с виду неказистый
и умеет плавать, как топор.
Не спешите разрыдаться —
жизнь полна импровизаций.
Гениальным может быть тапёр.

Чёрный клавиш — белый клавиш.
Всё, что было, не поправишь.
Он ещё не Рихтер и не Лист.
Полюбите пианиста!
«Быстро. Быстро. Очень быстро» —
современной музыки девиз.
Но однажды вдруг возникла
чемпионка мотоцикла —
забежала в зал без всяких дел.
И сказала: «Завтра ралли.

Догоните на рояле!»
И рояль за нею полетел.

И взлетел он на рояле,
нажимая на педали.
У рояля есть одно крыло.
Все машины поотстали.
Стал он чемпионом ралли,
хоть в рояле тысяча кило.

Полюбите пианиста,
закажите «Вальс-мефисто»
и летайте ночи напролёт.
Не спешите изумляться,
жизнь полна импровизаций,
с ним в оркестре гонщица поёт.

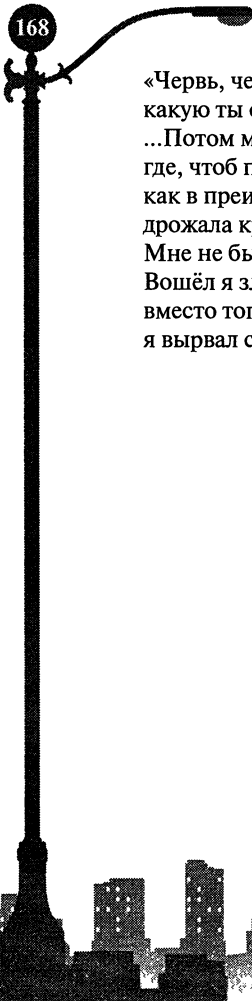
1983



СОН

Я шёл вдоль берега Оби,
я селезню шёл параллельно.
Я шёл вдоль берега любви,
и вслед деревни мне ревели.
И параллельно плачу рек,
лишённых лаянья собачьего,
финально шёл XX век,
крестами ставни заколачивая.
И в городах, и в хуторах
стояли Инги и Устиньи,
их жизни, словно вурдалак,
слепая высосет пустыня.
Кричала рыба из глубин:
«Возьми детей моих в котомку,
но только реку не губи!
Оставь хоть струйку для потомства».
Я шёл меж сосен голубых,
фотографируя их лица, —
как жертву, прежде чем убить,
фотографирует убийца.
Стояли русские леса,
чуть-чуть подрагивая телом.
Они глядели мне в глаза,

как человек перед расстрелом.
Дубы глядели на закат.
Ни Микеланджело, ни Фидий,
никто их краше не создаст.
Никто их больше не увидит.
«Окстись, убивец-человек!» —
кричали мне, кто были живы.
Через мгновение их всех
погубят ядерные взрывы.
«Окстись, палач зверей и птиц,
развившаяся обезьяна!
Природы гениальный смысл
уничтожаешь ты бездарно».
И я не мог найти Тебя
среди абсурдного пространства,
и я не мог найти себя,
не находил, как ни старался.
Я понял, что не будет лет,
не будет века двадцать первого,
что времени отныне нет.
Оно на полуслове прервано...
Земля пустела, как орех.
И кто-то в небе пел про это:



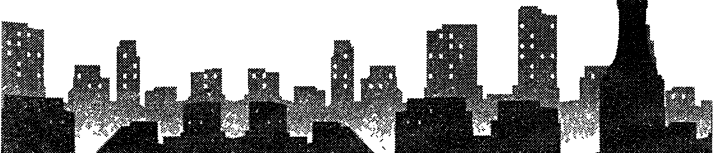
«Червь, человечек, короед,
какую ты сожрал планету!»
...Потом мне снился тот порог,
где, чтоб прикончить Землю скопом,
как в преисподнюю звонок,
дрожала крохотная кнопка.
Мне не было пути назад.
Вошёл я злобно и неробко —
вместо того чтобы нажать,
я вырвал с проводами кнопку!

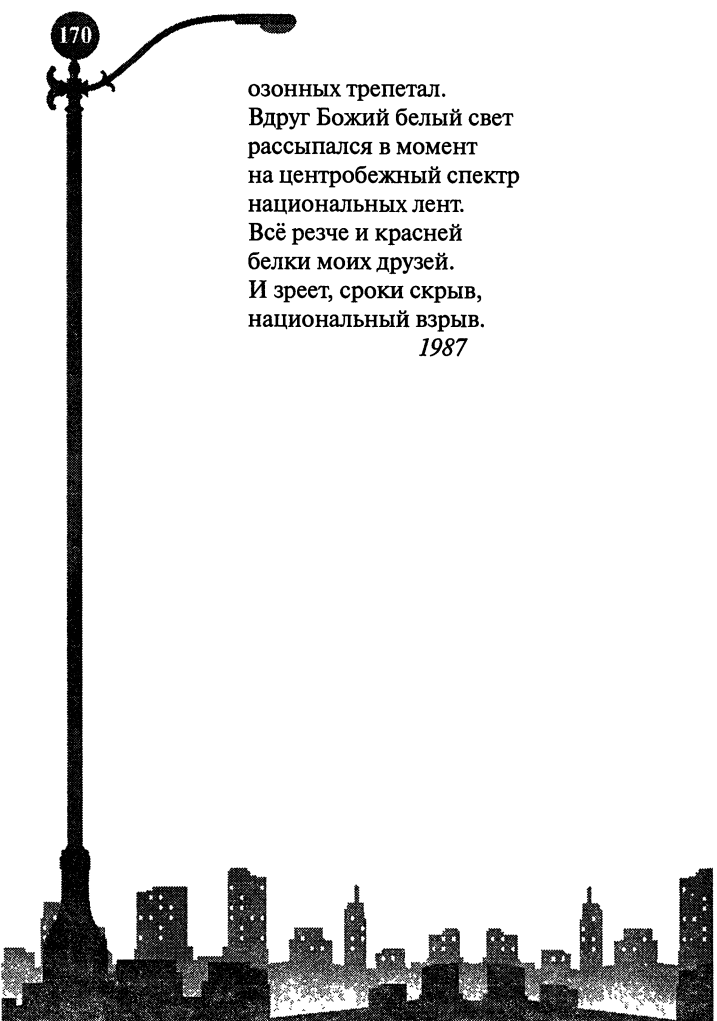
1983



ТРЕЩИНА

Я дерево вкопал
в национальный парк.
В моих ушах звенит
национальный стыд.
Кто замутняет ход
национальных вод?
Бьёт в ноздри мне из недр
национальный дух,
национальный кедр,
национальный дуб.
Светает среди верб
национальный серп.
Полз в яблоневоый сад
донациональный гад.
С холма на сериал
полуслепых полян
хрусталиком сиял
национальный храм.
Бесчеловечий дух
соединил в веках
Блаженного петух
с чалмами и в крестах.
Пней поднебесный тир.
Озёрный Левитан.
И небосклон из дыр





озонных трепетал.
Вдруг Божий белый свет
рассыпался в момент
на центробежный спектр
национальных лент.
Всё резче и красней
белки моих друзей.
И зреет, сроки скрыв,
национальный взрыв.

1987

* * *

Во время взлёта и перед бураном
мои душа и уши не болят —
болит какой-то вестибулярный,
не ясный для науки аппарат.
Когда, снижаясь, подлетаю к дому,
я через дно трепещущее чую,
как самолёт с жестяною ладонью
энергию вбирает полевую.
Читаю ль тягомотину обычную
или статьи завистливую рвотину,
я думаю не об обидчике, —
что будет с родиной?
Неужто и она себя утратит —
с кукушкой над киржацкою болотиной —
и распадётся, как Урарту, —
что будет с родиной?
Не административная система —
блеск её вёрст, на спиннинги намотанный.
Она за белой церковью синела
нерадиоактивную смородиной.
Я не хочу, чтобы кричала небу
чета берёз, белеющих в исподнем.
Отец и мать в моих проснулись генах:
«Что будет с родиной?»

1988

* * *

Гора решенья. И гора страданья.
И за спиной Восток.
Сквозь гору проступает тайная
цепочка из крестов.
Он там пятнадцать остановок сделает,
припав к камням,
как поцелуи осыпают тело
от уст к устам.
Он на гору размяться выйдет,
и над второй горой
он, словно в зеркале, увидит
крест теневой.
И в спину бьющее светило,
на облако отбросив тень,
его на небо пригвоздило.
Так по сей день:
«Пётр отречётся.
Страшной дисциплиною
я форму крестную приму.
От рук моих светящиеся линии
продлятся в космос и на Колыму.
Ученики, к чему рыданья?
Я так решил. Не отойти.
Рейшина моего страданья
прочертит человечеству пути».

25 октября 1989

* * *

Спаси нас, Господи, от новых арестов.
Наш Рим не варвары разбили грозные.
Спаси нас, Господи, от самоварварства,
от самоварварства спаси нас, Господи.

Как заяц, мчимся мы перед фарами,
но не чужие за нами гонятся!
Мы погибаем от самоварварства.
— От самоварварства спаси нас, Господи.

У нас не Демон украл Самару,
не панки съели страну, не гопники.
В публичных ариях, в домашних сварах
от самоварварства спаси наш госпиталь.
Не о себе сейчас разговариваю,
но и себя поминаю, Господи.

От мракобесья обереги нас,
от светлобесья избавь нас, Господи.
Новой победе самофракийской
не только крылья оставь, но — голову!..
Мне все же верится, Россия справится.
Есть просьба, Господи, еще одна —
пусть на обломках самоварварства
не пишут наши имена.

1989

ПРОЩАНИЕ С КНИГОЙ

1

Пронеслась Россия с гулом.
Как в туннель, народ мелькнул.
«Русская литература»
называют этот гул.
Кто вливает виски в тюрю,
кто бежит к зарубежу.
В русскую литературу,
как в тревогу, ухожу.
Я отвечу на «ату его!»,
но не вам, тов. господа.
Русская литература,
ты — преддверье Господа.
Ты, в которой вместо текста
чёрно-белый шрифт берёз,
ты, которая естественно
совесть повестью зовёшь...
Ежели свобода-дура
в нас осуществит сполна
геноцид литературы —
то свобода ли она?



2

Что такое книга? Трудно
вам вообразить уже.
Телик с титрами? Но трубка
подключается к душе?
Что такое книга? Или
отработанный приём?
Или генофонд России,
притворившийся шрифтом?
По тебе гадаю, книга,
ты дрожишь в моих руках —
безголовая, как Ника
о двух крохотных крылах.
А какая тайна чтения,
вдвоём, в сквере где-нибудь!
От плеча идёт волнение:
«Можно ли перевернуть?»
Так тысячелетье длится
наше чтение сообща.
Превращаются в страницы
два прижатые плеча.

3

Ты не только слёзы Лизы
среди кризиса бумаг,
ты — ломоть идеализма,
территория в умах.

И какую форму примут
без тебя наши дворы
и беременный периметр
Вифлеемовой горы?

— Что такое Дух? — расстроюсь,
врубят гид по телетуру.

— А куда мы сдали совесть?

— В русскую литературу.

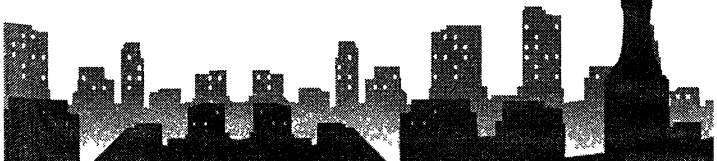
1990



ПЕВЕЦ

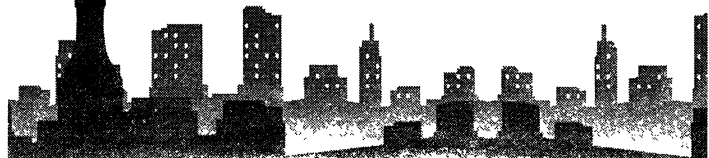
У него колечко в ухе
вспыхивает под лучом —
чистым слухом в век чернухи
с музыкою обручён.

1990-е



ПОВТОРНЫЙ АНГЕЛ

Валторна
блуждает в эфире. Мы снова одни.
Повторно
меня обними.
Оторвой
тебя называют, не ведая суть.
Повторный,
мой ангел повторный, со мною побудь.
Бессмертие спорно,
беспорное — это ты.
Нет порно,
в любви все поступки чисты.
Из спорта
была наша встреча.
Мы парные, как «Reebok».



Повторная встреча
лифтершей котируется как любовь.
Бесспорно.
Мы — эхо повтора.
Луна через шторы
рассыпала спичечный коробок.
мой ангел повторный,
храни тебя Бог!
Притворно
примеришь берет набекрень —
вальцово.
Ты слышишь валторну?
Сквозь всю дребедень —
валторна...

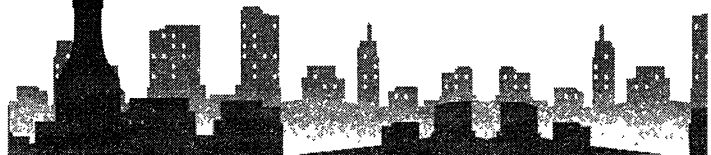
1990-е



* * *

Мы от музыки проснулись.
Пол от зайчиков пятнист.
И щеки моей коснулись
тени крохотных ресниц.
Под навесом оргалита,
нажимая на педаль,
ангел Божий алгоритмы
нам с Тобою передал.

1990-е



ЖЁЛТЫЙ ДОМ

Проживаю в жёлтом доме, в жёлтом доме,
как в кубическом лимоне.

Быт на сломе, газ разболтан
в жёлтом доме, в доме жёлтом.

А за стенкою во внешнем доме жёлтом
оппадают листопадные дензнаки.

По ночам мои окошки светят золотом,
потому что они тёмные с изнанки.

Ко мне утро сквозь фрамуги
жёлтой женщиной влетит.

Обо мне в лесах округи
пресса жёлтая шумит.

Чаадаевской картошки понарюю.

Волчьей ягоды нажрусь до тошноты.

У коров наших диагноз «паранойя».

Я достаточно орал Савонаролой,
я спасаюсь шоком тишины.

В том доме, в тёмном томе,
записал я Твою речь

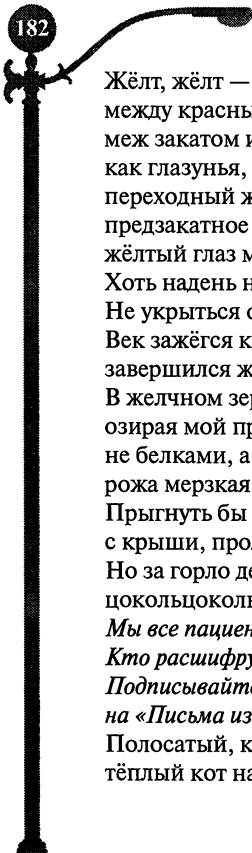
против света, в полудрёме,
с золотым обрезом плеч.

В этом двухэтажном доме
я любил. А что есть кроме я?


Остальное лжёт.

Скомкана салфетка в тоне.



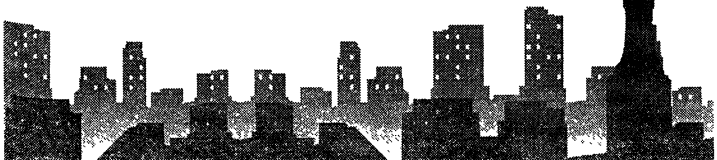


Жёлт, жёлт —
между красным и зелёным,
меж закатом и газоном,
как глазуня, в невезучий
переходный жизни час,
предзакатное безумье,
жёлтый глаз мигает в нас.
Хоть надень на солнце шорты!
Не укрыться охламонам.
Век зажётся кофтой жёлтой,
завершился жёлтым домом.
В желчном зеркале, из рамы,
озирая мой прикид,
не белками, а желтками
рожа мерзкая глядит.
Прыгнуть бы с «Песней о Соколе»,
с крыши, проломив крыльцо!..
Но за горло держит цоколь
цокольцокольцокольцо.
*Мы все пациенты, особенно врачи.
Кто расшифрует.....*
Подписывайтесь
на «Письма из Жёлтого дома»
Полосатый, как батоны,
тёплый кот на стол залёг.



Вдаришь в стенку — на ладони
сыплется яичный порошок
жёлтый, жёлтый, как тяжёл ты,
да пошёл ты,...!
Пациенты лезут в форточку по жёлобу.
Пишут письма мне потом.
Адрес точен, как жетон:
Россия. Жёлтый дом.

1996



* * *

Мотыльковый твой возраст
на глазах умирает.
Обратиться ли в розыск?
Обвинят в аморалке.
Каждый раз после встречи
мотыльковые чувства,
мотыльковые плечи
на руках остаются.
Матерком твоим чистым
и толковым умением —
тороплюсь облучиться
чудным исчезновением.
Свет толкущийся, тайный
над тобою не тает —
мотыльки улетают!
мотыльки улетают!
Жемчуга среди щебня.
Ландыши среди хвороста.
Расставаться волшебнее
мотылькового возраста.

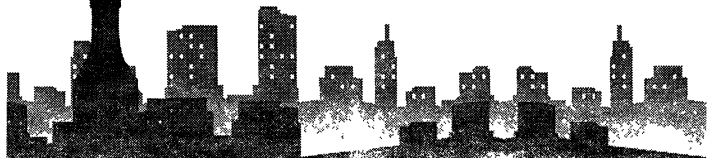
1996

В нас Рим и Азия смыкаются.
Мы истеричны и странны.
Мы стали экономикадзе
самоубийственной страны.
1997



* * *

Прими, Господь, поэта улиц
и со Святыми упокой
за соколиную сутулость,
нахохленную над струной.
Прощай, Булат. Политехнический.
И те, кто рядышком сидят.
Твой хрипловатый катехизис —
нам как пароль. Прости, Булат..
Он жил, как жить должны артисты.
По-христиански опочил.
Стихами, в бытность атеистом,
Тебе он, Господи, служил.



ШАЛАНДА ЖЕЛАНИЙ

Шаланда уходит. С шаландой неладно.
Шаланда желаний кричит в одиночестве.
Послушайте зов сумасшедшей шаланды,
шаланды — шаландышаландышаландыша
л а н д ы ш а хочется!

А может, с кормы прокричала челночница?
А может, баржа недодолбанной бандерши?
Нам ландыша хочется! Ландыша хочется!
Как страшно качаться под всею командой!
В трансляции вандала, вандала, вандала
«Лаванда» лавандалаванда не кончится.

А море, вчерашнее рашен, дышало,
кидало до берега пачки цветочные.
И все писуары Марсея Дюшана
белели талантливо. Но не точно.
И в этом весь смысл королев и шалавы
последней, пронзающий до позвоночника,
и шепот моей сумасшедшей шаланды,
что я не услышал:
«Л а н д ы ш а хочется...»

1997



СПАСИТЕ ЧЕРЁМУХУ

Спасите черёмуху! Как в целлофаны,
деревья замотаны исчервлённые.

Вы в них целовались. Летят циферблаты.

Спасите черёмуху!

Вы, гонщики жизни в «Чероки» красивом,
ты, панк со щеками, как чашка Чехонина.

Мы без черёмухи — не Россия. Спасите черёмуху.

Зачем красоту пожирают никчёмные?!

К чему, некоммерческая черёмуха,

ты запахом рома дышала нам в щёки,

как тыщи волшебных капроновых щёточек!

Её, как заразу, как класс, вырубают

под смех зачумлённый.

Я из солидарности в белой рубахе

сутуло живу, как над речкой черёмуха.

Леса без черёмухи — склад древесины.

Черёмухи хочется! Так клавесину

Чайковского хочется. К вечеру сильно



и вкладчице «Чары», и тёлке в косынке,
несчастливым в отсидке, и просто России,
опаутиненной до Охотского,
черёмухи хотца, черёмухи хотца...
Приду, обниму тебя за оградой,
но сердце прилипнет к сетям шелкопряда.
Шевелятся черви в душе очарованной...
Спасите черёмуху!
Придёт без черёмухи век очерёдный.
Себя мы сожрали, чмуры и чмурёнихи.
Лесную молитву спасите, черёмуху!
Спаситесь черёмухой.

1997



А ТЫ МЕНЯ ПОМНИШЬ?

Ты мне прозвонилась сквозь страшную полночь:

«А ты меня помнишь?»

Ну как позабыть тебя ангел-зверёныш?

«А ты меня помнишь? —

твой голос настаивал, стонуш и тонуш:

А ты меня помнишь? а ты меня помнишь?»

И ухало эхо во тьме телефониш —

рыдало по-русски, in English, in Polish —

you promise? astonish... а ты меня помнишь?

А ты меня помнишь, дорога до Бронниц?

И нос твой, напудренный утренним пончиком?

В ночном самолёте отстёгнуты помочи, —

вы, кресла, нас помните?

Понять, обмануться, окликнуть по имени:

А ты меня...

Помнишь? Как скорая помощь,

в беспамятном веке запомни одно лишь —

«А ты меня помнишь?»

1998



* * *

Я тебя очень... Мы фразу не кончим.
Губы на ошупь. Ты меня очень...
Точно замочки, дырочки в мочках.
Сердца комочек чмокает очень.
Чмо нас замочит. Город нам — отчим.
Но ты меня очень, и я тебя очень...
Лето ли осень, всё фразу не кончим:
«Я тебя очень...»

1999

МАГАЗИН «МОСКВА»

Вентилятор — нелетающий пропеллер.
И тревожно, честно говоря,
что стихи мои опять бестселлер —
«Лучшая продажа февраля».
Лучшая февральская обманка,
том-фантом за 42 рубля...
Снег обескураженно обмякнет —
лето в середине февраля!
Я читаю, одинок, как мамонт,
след от шин, как зубчики Кремля...
Вновь надежда нас продаст, обманет —
лучшая продажа февраля.

2000



ПЕРЕХОД НА ПУШКИНСКОЙ

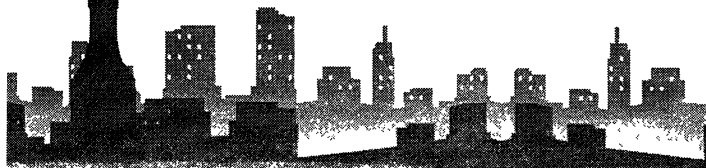
В переходе на Пушкинской
была пирсинга лавочка.
Твои щёки припухшие
украшали мы давеча
модным вздором серебряным...
Лохов девушки клеили.
И дрожали целебные
два колечка над лейблами.
Всё казалось игрушечным.
Милицейский — без пушечки.
Вдруг со взором опущенным
ты выходишь на Пушкинской?..
Времена переходные...
Вместо лавочки с обувью
корчатся пешеходы
с вывороченными утробами.
У девчонки подобранной
шоком сдвинута психика,
и на ухе оторванном
три заветные пирсинга.
Будьте прокляты, рожи
фотороботов-призраков!
Спаси, Господи Боже,
мою девочку с пирсингом!

2000



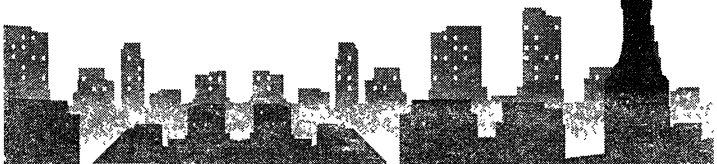
МОЁ ВРЕМЯ

Пришло моё время. Пускай запоздав.
Вся жизнь — только тренинг
пред высшим мгновеньем.
Отходит состав.
Пришло моё время.
Оно, моё время, взяв секундомер,
стоит на пороге.
А кто испугался, душой оскудел —
пусть делает ноги!
Сердца миллионов колотятся в такт
моим бумаженциям.
Со мной — не абстракт! —
на Владимирский тракт
пришла моя женщина.
Мы — нищие брюхом. Как все погоря,
живу не в эдеме.
Но Хлебников нынче — ясней букваря.



Пришло моё время.
Да здравствует время, с которым борясь,
мы стали, как кремний!
Кругом вероломное время сейчас.
Но каждый в себе своё время припас.
Внутри — моё время.
Меня, как исчезнувшую стрекозу,
изучат по Брему.
Ну что на прощанье тебе я скажу?
Пришло моё время.

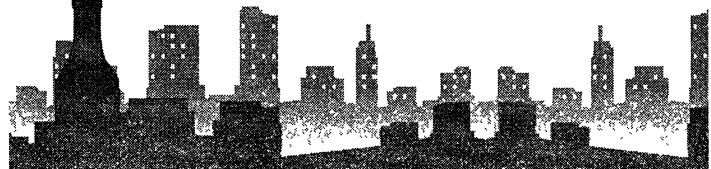
2000



* * *

На стрёме
замрут века, дыханье затая.
Нас трое —
Бог, ты и я.
Закрою
твои глаза — ты видишь сквозь пупок.
Нас трое —
Ты, я и Бог.
Настройте
тычинки, сумасшедшие цветы.
Мы трое,
Бог, я и ты, —
мир Трое! —
решили спор войны и красоты.
Гастроли
кончаются. Грядущее темно.
Мы — трое.
Но мы — одно.

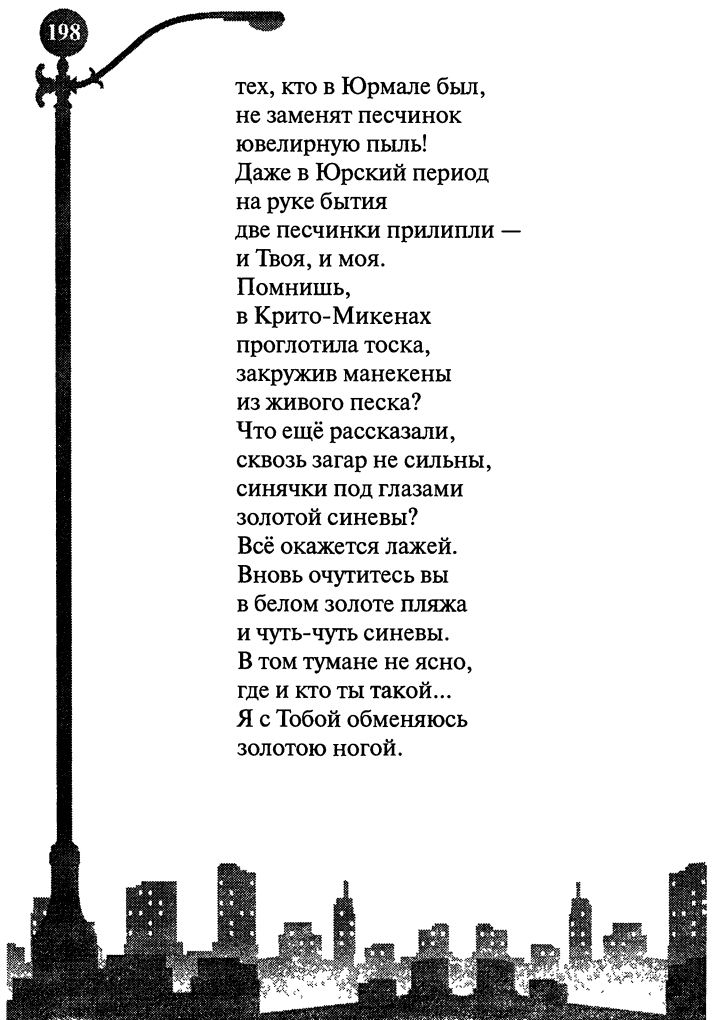
3 января 2001



ЗОЛОТАЯ СИНЕВА

Сколько пляжных песчинок!
Сколько в женщине пор!
Внешность с первопричиной
За Тебя ведут спор.
В каждой поре — песчинка.
Сколько времени? Но
все часы — на починке!
Время засорено.
Сколько мы засорили
в этой жизни с Тобой!
Скольких мы озарили
золотой синевой!
Эти брызги сухие —
точно искры души.
Что кому вы сулили?
И кого подожгли?
Но едва опочили —
просыпаетесь вы
в ореоле песчинок
золотой синевы.
Как в восторженном страхе
вихревого столба,
Ты крутилась, вытряхивая
целый пляж из себя!
Никакие бесчинства



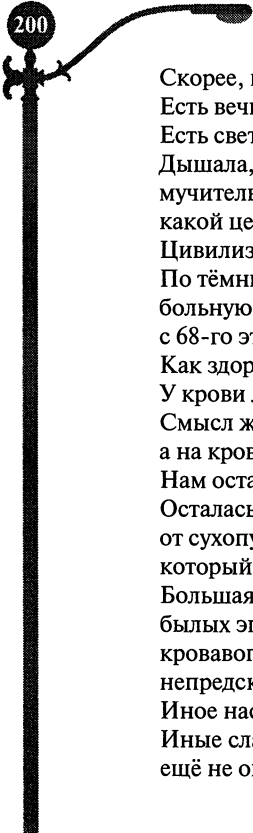


тех, кто в Юрмале был,
не заменят песчинок
ювелирную пыль!
Даже в Юрский период
на руке бытия
две песчинки прилипли —
и Твоя, и моя.
Помнишь,
в Крито-Микенах
проглотила тоска,
закружив манекены
из живого песка?
Что ещё рассказали,
сквозь загар не сильны,
синячки под глазами
золотой синевы?
Всё окажется лажей.
Вновь очутитесь вы
в белом золоте пляжа
и чуть-чуть синевы.
В том тумане не ясно,
где и кто ты такой...
Я с Тобой обменяюсь
золотою ногой.

TRADE CENTER

Америка по всем программам.
«На что способен Человек?»
В глазах — обломки чёрной рамы.
НЕ ПОНИМАЮ НИЧЕГО.
Всё это было не макетом,
не Голливуд на нас попёр.
Ревёт дымящийся Манхэттен,
как потерявший зуб бобёр.
Чей
самОлёт
вбит
в стену
кляксой?
Он тыщи жизнью уволок.
Цивилизация в коллапсе.
Избави Бог! Избави Бог!
И трафик душ, спеша расстаться,
крутился зло и горячо.
Кому несут москвички астры?
Кому ещё?.. Кому ещё?..
И сероглазую студентку,
глазевшую на Пентагон,
оберегите, не заденьте!



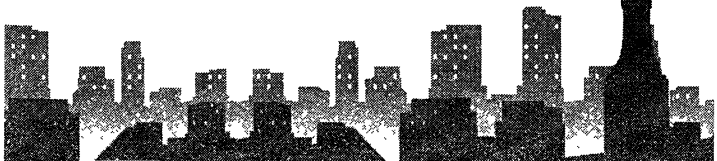


Скорее, милая, бегом.
Есть вечность зла.
Есть свет и вечность.
Дышала, схожая с Тобой,
мучительная человечность —
какой ценой? какой ценой?
Цивилизация в коллапсе.
По тёмным лестницам кружа,
больную вынесли в коляске
с 68-го этажа.
Как здорово, что столько доноров.
У крови лидеры свои.
Смысл жизни не в рублях и долларах,
а на крови, а на крови.
Нам остаётся только тайна.
Осталась пыль. Остался гул
от сухопутного «Титаника»,
который в небе затонул
Большая кровь побилa рейтинг
былых эпох. На что нам, Бог,
кровавого тысячелетия
непредсказуемый пролог?
Иное наступает время.
Иные слава и позор
ещё не ощутимы всеми.



Но счёт пошёл, но счёт пошёл.
Всё будет: счастье, мелодрамы,
успех, в любви — волюнтаризм.
Но в чёрной раме, в чёрной раме
на всю оставшуюся жизнь.

11 сентября 2001 года



ДЕМОНСТРАЦИЯ ЯЗЫКА

Константирует Кедров
поэтический код декретов.
Константирует Кедров
недра пройденных километров.
Так, беся современников,
как кулич на лопате,
константировал Мельников
особняк на Арбате.
Для кого он горбатил,
сумасшедший арбайтер?
Бог поэту сказал: «Мужик,
покажите язык!»
Покажите язык свой, нежить!
Но не бомбу, не штык —
в волдырях, обожжённый, нежный —
покажите язык!
Ржёт похабнейшая эпоха.
У нее медицинский бзик.
Ей с наивностью скомороха
покажите язык.
Монстры ходят на демонстрации.
Демонстрирует блядь шелка.
А поэт — это только страстная
демонстрация языка.
Алой маковкой небесовской

из глубин живота двоякого
оперируемый МаяКОВский
демонстрирует ЯКОВА...
Эфемерность евроремонтов
константирующий Леонтьев
повторяет несметным вдовам:
«Поэт небом аккредитован!»
Поэтического скинхеда
виден череп в компьютерной мыши.
Мысль — это константа Кедрова.
Кедров — это константа мысли.

2002



ЛЕТО ОЛИГАРХА

Опаловый «Линкольн».
Полмира огуляв,
скажите: вам легко ль,
опальный олигарх?
Весь в чёрном, как хасид,
легко ль дружить с Христом?
Под Нобеля косить?
Слыть антивеществом?
Напялив на мосла
Ставрогина тавро,
слыть эпицентром зла,
чтобы творить добро?
Бежит по Бейкер-стрит
твой оголец, Москва.
Но время состоит
из антивещества.
Кар взорван. Бог вас спас.
Вас плющит сноуборд.
С экрана ваш палас летит,
как в рожу торт.
Как беркут поугрюмев,
вы жертвуете взнос.
чтобы в российских тюрьмах
исчез туберкулёз.



Жизнь — не олеограф
по шёлку с фильдеперсом.
И женщин, олигарх,
вы отбивали сердцем.
И пьёте вы не квас,
враг формул и лекал,
люблю безумство в вас,
аллегро-олигарх!
Люблю вместо молитв
отдачу сноуборду,
И ваш максимализм —
похмельную свободу!
Господь нахулиганил?
Все имиджи сворованы.
Но кто вы — «чёрный ангел»?
Иль белая ворона?
Над Темзой день потух.
Шевелит мирозданье
печальный Демон,
дух изгнания.
Надежда или смерть?
Преддверие греха?
Рубаю Божью снедь я,
олигарх стиха.

14 апреля 2003

МОРЕ

Море разглаживает морщины.
В море — и женщины, и мужчины.
Глупо расспрашивать про причины.
Море разглаживает морщины.

Спят пеликаны, как нож перочинный.
Сколько отважных море мочило!
Пляж не лажает тебя. Молодчина!
Горе не страшно. Оно — не кручина.

Море разглаживает морщины.



РАДИ ТЕБЯ

Ради тебя надрываюсь на радио —
вдруг Ты услышишь, на службу идя.

Я в этой жизни живу Тебя ради,
ради Тебя.

Я тренажеры кручу Тебя ради,
на пустом месте педали крутя.

В жизни, похоже, я кем-то украден.

И надо мною кружат ястреба.

Между убийцами выбор и пройдами.

Не ради «зелени» и тряпья,

не для народа я пел, не для Родины —
ради Тебя, ради Тебя.

Точно на диске для радиолы

дактилоскопическая резьба —

без Твоих пальчиков мне одиноко!

Приди ради Бога, ради Тебя.

Не в Петербурге, не в Ленинграде —

в небе над Невским мы жили с Тобой.

Третий глаз в лоб мне ввинтишь Тебя ради
антикокардой. Это любовь.

В моих фантазиях мало доблести,

жизнь виртуальную торопя,



я отучаю Тебя от комплексов
ради Тебя, ради Тебя.
Пусть пародийны мои парадигмы.
Но завтра сбудется трепотня.
Если умру я, повторно роди меня —
роди ради Бога, ради Тебя.

2004



АВТОПОРТРЕТ

Он тощ, словно сучья. Небрит и мордаст.
Под ним третьи сутки
 трещит мой матрац.
Чугунная тень по стене нависает.
И губы вполхари, дымясь, полыхают.

«Приветик, — хрипит он, — российской
поэзии.
Вам дать пистолетик? А, может быть,
лезвие?
Вы — гений? Так будьте ж циничнее к
хаосу..
А может, покаемся?..

Послюним газетку и через минутку
свернем самокритику, как самокрукту?..»

Зачем он тебя обнимет при мне?
Зачем он мое примеряет кашне?
И щурит прищур от моих папирос...

Чур меня! Чур!
SOS!

1963



АНТИМИРЫ

Живет у нас сосед Букашкин,
в кальсонах цвета промокашки.
Но, как воздушные шары,
над ним горят
Антимиры!

И в них магический, как демон,
Вселенной правит, возлежит
Антибукашкин, академик
и шупает Лоллобриджид.

Но грезятся Антибукашкину
виденья цвета промокашки.

Да здравствуют Антимиры!
Фантасты — посреди муры.
Без глупых не было бы умных,
оазисов — без Каракумов.

Нет женщин — есть антимужчины,
в лесах режут антимашины.
Есть соль земли. Есть сор земли.
Но сохнет сокол без змеи.

Люблю я критиков моих.
На шее одного из них,
благоуханна и гола,
сияет антиголова!..



...Я сплю с окошками открытыми,
а где-то свищет звездопад,
и небоскребы сталактитами
на брюхе глобуса висят.

И подо мной вниз головой,
вонзившись вилкой в шар земной,
беспечный, милый мотылек,
живешь ты, мой антимирок!

Зачем среди ночной поры
встречаются антимирры?

Зачем они вдвоем сидят
и в телевизоры глядят?

Им не понять и пары фраз.
Их первый раз — последний раз!

Сидят, забывши про бонтон,
ведь будут мучиться потом!
И уши красные горят,
как будто бабочки сидят...

...Знакомый лектор мне вчера
сказал: «Антимирры? Мура!»

Я сплю, ворочаюсь спросонок,
наверно, прав научный хмырь.

Мой кот, как радиоприемник,
зеленым глазом ловит мир.

1961



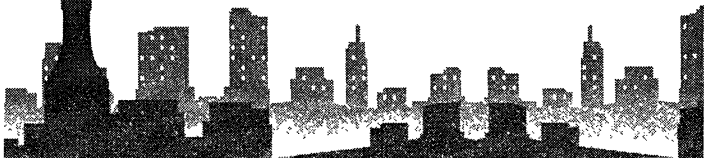
ВАЛЬС ПРИ СВЕЧАХ

Любите при свечах,
танцуйте до гудка,
живите — при сейчас,
любите — при когда?

Ребята — при часах,
девчата при серьгах,
живите — при сейчас,
любите — при Всегда,

прически — на плечах,
щека у свитерка,
начните — при сейчас,
очнитесь — при всегда.

Цари? Ищи-свищи!
Дворцы сминаемы.
А плечи все свежи
и несменяемы.



Когда? При царстве чьем?
Не ерунда важна,
а важно, что пришел.
Что ты в глазах влажна.

Зеленые в ночах
такси без седока...
Залетные на час,
останьтесь навсегда...



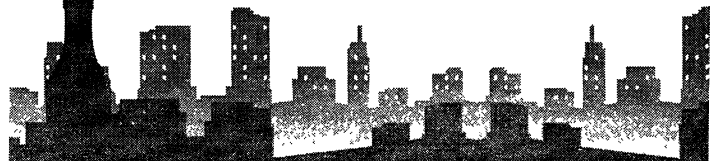
ЗАМЕРЛИ

Заведи мне ладони за плечи,
обойми,
только губы дыхнут об мои,
только море за спинами плещет.

Наши спины, как лунные раковины,
что замкнулись за нами сейчас.
Мы заслушаемся, прислонясь.
Мы — как формула жизни двоякая.

На ветру мировых клоунад
заслоняем своими плечами
возникающее меж нами —
как ладонями пламя хранят.

Если правда, душа в каждой клеточке,
свои форточки отвори.
В моих порах стрижами заплещутся
души пойманные твои!



Все становится тайное явным.
Неужели под свистопад,
разомкнувши объятья, завянем —
как раковины не гудят?

А пока нажимай, заваруха,
на скорлупы упругие спин!
Это нас погружает друг в друга.

Спим.

1965



ВАСИЛЬКИ ШАГАЛА

Лик ваш серебряный, как алебарда.
Жесты легки.

В вашей гостинице аляповатой
в банке спрессованы васильки.

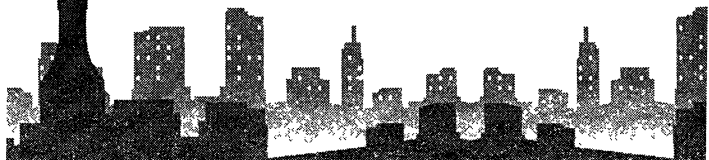
Милый, вот что вы действительно любите!
С Витебска ими раним и любим.
Дикорастущие сорные тюбики
с дьявольски

выдавленным
голубым!

Сирий цветок из породы репейников,
но его синий не знает соперников.
Марка Шагала, загадка Шагала —
рупь у Савеловского вокзала!

Это росло у Бориса и Глеба,
в хохоте нэпа и чебурек.
Во поле хлеба — чуточку неба.
Небом единым жив человек.

Их витражей голубые зазубрины —
с чисто готической тягою вверх.



Поле любимо, но небо возлюблено.
Небом единым жив человек.

В небе коровы парят и ундины.
Зонтик раскройте, идя на проспект.
Родины разны, но небо едино.
Небом единым жив человек.

Как занесло васильковое семя
на Елисейские, на поля?
Как заплетали венки Вы на темя
Гранд Опера, Гранд Опера!

В век ширпотреба нет его, неба.
Доля художников хуже калек.
Давать им сребреники нелепо —
небом единым жив человек.

Ваши холсты из фашистского бреда
от изуверов свершали побег.
Свернуто в трубку запретное небо,
но только небом жив человек.

Не протрубили трубы господни
над катастрофою мировой —



в трубочку свернутые полотна
воют архангельскою трубой!

Кто целовал твое поле, Россия,
пока не выступят васильки?
Твои сорняки всемирно красивы,
хоть экспортируй их, сорняки.

С поезда выйдешь — как окликают!
По полю дрожь.
Поле прищпорено васильками,
как ни уходишь — все не уйдешь...

Выйдешь ли вечером — будто захварываешь,
во поле углические зрачки.
Ах, Марк Захарович, Марк Захарович,
все васильки, все васильки...

Не Иегова, не Иисусе,
ах, Марк Захарович, нарисуйте
непобедимо синий завет —
Небом Единым Жив Человек.



Содержание

Первый снег	3
Осенний воскресник	5
Колесо смеха	6
«Меня пугают формализмом...»	8
Горный родничок	9
«Не надо околичностей...»	10
Фестиваль молодёжи	12
Торгуют арбузами	14
Пожар в архитектурном институте	15
Гойя	17
«Нет у поэтов отечества...»	18
Мастерские на Трубной	19
«Сидишь беременная, бледная...»	21
«По Суздалю, по Суздалю...»	23
Дача детства	24
Свадьба	25
Песня Офелии	26
Нескончаемая душа	27
«Дали девочке искру...»	28
«У речки-игруньи...»	29
Ода сплетникам	30
Баллада точки	32
«Кто мы – фишки или великие?»	33

Немые в магазине	35
Последняя электричка	37
Первый лед	39
Вечеринка	40
«Эх, Россия...»	42
Туманная улица	43
Бьют женщину	44
Баллада 41-го года	46
Лобная баллада	48
«Я сослан в себя...»	50
Стриптиз	51
Противостояние очей	52
Осень в Сигулде	54
Рок-н-ролл	57
Рублевское шоссе	61
Итальянский гараж	62
Стрела в стене	64
«Отдай, тетива сыромятная...»	66
«Шарф мой, Париж мой...»	67
Длинноногого	68
Ночь	70
«Ты с легкостью живешь. Она учит канцоны...»	71
поэт в Париже	72
Сирень	74
«Нас много. Нас, может быть, четверо...»	75
Больная баллада	77

Баллада-яблоня	79
Плач по двум нерождённым поэтам	82
«Ты пролетом в моих городах...»	86
Прости меня, что говорю при всех	87
Портрет Плисецкой	90
Тоска	103
Не пишется	104
На плотях	106
Роща	108
Цикламена	110
Старая песня	111
Горный монастырь	112
«Наш берег песчаный и плоский...»	113
Две песни	114
Правила поведения за столом	117
Петрарка	118
Апельсины	119
«В человеческом организме...»	120
«На суде, в раю или аду...»	121
Мы нарушили божий завет	122
«Я не ведаю в женщине той...»	124
«Стихи не пишутся – случаются...»	125
Разговор с эпитафием	126
«Теряю свою независимость...»	128
Порнография духа	130
«Не возвращайтесь к былым возлю- бленным...»	132



«Не отрекусь от каждой строчки пошлой...»	134
Звезда	136
«Как сжимается сердце дрожью...»	138
Русско-американский романс	139
Книжный бум	140
Ресторан	142
Звезда на Михайловском	144
Свет друга	145
Монолог века	146
Черная звезда	148
Аннабел ли	149
Купание в росе	150
Н.У. — ресторан	152
Мать	154
Миллион роз	156
Инструкция	158
«Две школы — женская, мужская...»	162
«Ты мне никогда не снишься...»	163
Регтайм	164
Сон	166
Трещина	169
«Во время взлета и перед бураном...»	171
«Гора решенья. И гора страданья...»	172
«Спаси нас, господи, от новых арестов...»	173
Прощание с книгой	174
Певец	177

Повторный ангел	178
«Мы от музыки проснулись...»	180
Жёлтый дом	181
«Мотыльковый твой возраст на глазах умирает...»	184
«В нас Рим и Азия смыкаются...»	185
«Прими, господь, поэта улиц...»	186
Шаланда желаний	187
Спасите черемуху	188
А ты меня помнишь?	190
Магазин «Москва»	192
Переход на Пушкинской	193
Моё время	194
«На стрёме замрут века...»	196
Золотая синева	197
Trade center	199
Демонстрация языка	202
Лето олигарха	204
Море	206
Ради тебя	207
Автопортрет	209
Антимиры	210
Вальс при свечах	212
Замерли	214
Васильки Шагала	216



Литературно-художественное издание

Андрей Вознесенский
Миллион алых роз...

Ведущий редактор *Юлия Чегодайкина*
Корректор *И.Н. Цулая*
Технический редактор *М.Н. Курочкина*
Компьютерная верстка *Г.А. Сенина*

Подписано в печать 07.11.13.
Формат 60x84/32. Усл. печ. л. 7,44
Тираж 2500 экз. Заказ № 7892.

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 – книги, брошюры

ООО «Издательство АСТ»
127006 г. Москва, ул. Садовая-Триумфальная,
д. 16, стр. 3, пом. 1, ком. 3

Отпечатано с готовых файлов заказчика
в ОАО «Первая Образцовая типография»,
филиал «УЛЬЯНОВСКИЙ ДОМ ПЕЧАТИ»
432980, г. Ульяновск, ул. Гончарова, 14



www.ast.ru

ISBN 978-5-17-080372-9



9 785170 803729 >